

**РОМАН ХАРИТОНОВ:
ПУТЕШЕСТВЕННИК-ФАНТАЗЕР**

КАБОТАЖНОЕ ПЛАВАНИЕ

П

осле долгого отсутствия появился Харитонов. Прихожу в «Подъём», Ася мне говорит:

— Знаешь, Роман приехал.

Я был удивлен. Не позвонил, не предупредил, не попытался меня найти. Не прошло и получаса, открывается дверь в редакцию — в проеме Харитонов собственной персоной. Слегка сутулится, но движения быстрые, энергичные. На нем белая рубашка и костюмные брюки. В руке толстокожий портфель с поломанным замком. Все, кто был в редакции, накинулись на него:

— Роман, откуда?

Он облокотился о стол, скромно потупился:

— Плавал.

— На чем?

— На «Полетаеве». Каботажное плавание в Норвежском море.

— И где побывал?

— В Норвегии, Швейцарии. В города не пускали. Бывал только в портах. Бросилось в глаза, что одеваются там люди хуже, чем у нас. Все серое и черное. Не ярко.

— Конечно, Север, — заметила Ася.

— Да, Север. Северные краски скупы, — согласился Роман. Махнул рукой — туда, где побывал и добавил: — Лофотенские острова хороши. А капитан у нас был — настоящий морской волк. Ну, ладно, Пашнев, я за тобой. Ты уже свободен?

— Да.

Когда мы вышли из редакции и начали спускаться по лестнице, Роман оглянулся и спросил:

— Не очень заметно, что я вру?

— Не очень, — сказал я. — Но только, по-моему, Швейцария сухопутная страна. Ты, наверное, был в Швеции.

— Да? Сейчас посмотрю.

Он полез в портфель, достал блокнот.

— Я только в Воронеже купил карту и выписал, где я побывал. Точно, в Швеции был. А Копенгаген — чья столица?

— Дании.

— А я сказал, в Швейцарии? Ничего. Все равно никто из них не знает географии.

МОЙ ДРУГ

Это был счастливый момент в нашей биографии. Два друга, два начинающих поэта из одного города приехали в Москву и поступили в Литературный институт. Мы сидели в аудитории за одним столом, жили в общежитии в одной комнате, учились мастерству в одном семинаре у популярного поэта-песенника Льва Ошанина.

Годы учебы (1959–1964) пролетели быстро. Я получил диплом литературного работника и вернулся в Воронеж, устроился на работу в журнал «Подъём». Роман остался в Москве. Журнал «Смена» послал его в длительную командировку на Север. Он должен был написать цикл стихов о жизни мужественных людей в суровом краю. В опубликованном виде цикл стихов занял в журнале две страницы — поэтическая журналистика.

Вместе с Романом поехала в командировку известная журналистка «Смены» Тамара Илатовская. Она писала много и ярко, у нее были изданы книги. Из командировки Роман и Тамара вернулись близкими людьми. Они стали жить вместе в большой московской квартире родителей Тамары. Теперь, когда я приезжал в Москву, останавливался у друга, который еще не стал официально мужем, но уже был принят в семью.

Мать Тамары, очень больная и очень добрая женщина, привечала меня, старалась накормить обедом, напоить чаем. Отец, к тому времени пенсионер, обладавший дипломатическим и военным опытом, сидя в кресле в большой комнате, где по вечерам собиралась вся семья, мудро и позитивно улыбался. Обстановка в доме была доброжелательная, но Роман, как всякий провинциал, чувствовал себя не совсем уверенно. Иногда в моем присутствии наивно самоутверждался, позволял лишние вольности в отношениях с Тамарой.

ОРЕШКИ

Москва. Мы сидим в комнате. Вернее, я сижу, а Роман лежит на диване. Он змурится, как сытый кот. Восемь часов вечера, но мой друг только что проснулся, Он слегка потягивается, наслаждается покоем и мягким ковром, которым застлан диван.

— Тамара! — лениво тянет он, — дай мне сигареты.

Тамара, переваливаясь с ноги на ногу, быстро несет ему пачку сигарет. Она беременна, живот большой. Отдала сигареты, села в ноги. Роман выкурил сигарету, вспомнил:

— Тамара, где-то у нас были орешки?

— Нету, съели.

— Да?.. — Он минуту молчит. — А ты сходи в магазин. Купи.

Тамара нерешительно смеется. И тогда Роман, чтобы продемонстрировать, какое он здесь занимает положение, толкает ее ласково ногой в плечо и повторяет свою просьбу:

— Сходи.

Неловкая пауза.

МОСКВА — ВОРОНЕЖ

Роман жил в Москве в чужой квартире, еще не прописанный в ней. А в Воронеже, в его новой квартире, полученной незадолго до поездки на Север, ждали его возвращения из командировки жена Люба и сын Федыка.

С Любой мой друг познакомился не в обычном месте, а за колючей проволокой, где отбывал наказание за участие в уличной банде, которая была вооружена и отстреливалась, когда их брали. Он был младший (малолетка), но получил почти такой же срок, как все.

Люба участвовала в самодеятельности в каком-то клубе. Она приехала в колонию под Воронежем с концертом. Полная, кучерявая, круглолицая девушка играла на баяне и пела. Перед ней была серая масса зеков в одинаковой одежде; лиц она не различала. И вдруг из первого ряда выскочил один, запрыгнул на сцену и вложил ей в руку записку. Это был уже отсидевший несколько лет и повзрослевший Роман Харитонов. Они стали переписываться, а когда он освободился, поженились.

Еще в школе, в младших классах, Роман начал писать стихи и даже опубликовал одно в газете «Молодой коммунар». Находясь за колючей проволокой, он тосковал и писал стихи, много стихов. Перед самым освобождением написал поэму «За запретной зоной». Можно сказать, попал за колючую проволоку малолетним преступником, а вышел на свободу поэтом.

ЛЮБА ХАРИТОНОВА

Встретил на проспекте Революции жену Романа — Любу. Идет, улыбается во все свои щеки.

— Привет, Люба! Какие новости у Романа?

Я делал вид, что ничего о нем не знаю.

— Получила вызов. Почему-то Роман дал адрес воронежский, а не московский. (Она считала, что Роман все еще живет в общежитии на Руставели).

— Куда его вызывают?

— 15 июля быть в Москве в Союзе писателей. Вместе с ним будут принимать Мерзликина, Лысцова. Я хочу тоже туда поехать.

— Зачем? — ужаснулся я.

— Мне хочется в Москву. Я давно там не была.

Кое-как уговорил ее не ездить, а если ехать, то дать обязательно телеграмму.

Мерзликин и Лысцов, наши однокурсники, стали членами Союза писателей.

А Романа не приняли, хотя у него была рекомендация Ярослава Смелякова, замечательного поэта. На приеме присутствовал секретарь Союза писателей РСФСР, наш земляк Егор Исаев, который почему-то не хотел, чтобы Романа приняли в писатели.

РАЗВОД

В конце декабря 1965 года Роман приехал в Воронеж, чтобы подать документы на развод. Он больше не хотел скрывать, что живет в Москве с другой женщиной, и она ждет ребенка. Эта новость обсуждалась в Воронеже, но до Любы неприятные слухи не доходили.

Роман был напряжен, угрюмо сосредоточен:

— Какие они все сплетники, — сказал он мне. — В Москве есть Царь-колокол. Дать бы им его. Вот уж позвонили бы так позвонили!

Мы встретились, чтобы идти в обком. Завотделом культуры Михаил Алексеевич Грибанов выделил в свое время Харитонову из всех молодых писателей, помог издать в Центрально-Черноземном издательстве первую книгу стихов «Тысяча строк». Прежде чем распрощаться с Воронежем, Роман хотел зайти к нему, поблагодарить.

Но разговор начался неожиданно. Михаил Алексеевич вышел из-за стола, пожал нам руки и тут же спросил:

— Хочешь, Роман, я тебя устрою на работу?

— Куда?

— Завлитом в драмтеатр. Стиро уходит на пенсию.

Полгода назад, когда в Воронежском ТЮЗе освободилась должность завлита, мы с Романом ходили устраиваться вдвоем на одну должность и, естественно, на одну зарплату, которую собирались делить пополам. Нас не взяли. Михаил Алексеевич, очевидно, помнил эту историю. Он тут же позвонил главному режиссеру театра Монастырскому, договорился с ним, что завтра утром тот, до репетиции, встретится с Харитоновым.

Вечером Роман пришел ко мне домой. Я дал ему подшивку журналов «Театр» за 1965 год, чтобы он почитал театральные статьи и подготовился к встрече. Потом мы пошли в общежитие театра юного зрителя. Надо было навести справки о режиссере Монастырском, что он и как? Нам объяснили: энергичный, авантюрного склада человек. Роман решил, что он знает уже достаточно, чтобы разговаривать с главным режиссером театра и понравиться ему.

Я понял: Роман не уверен в себе, он все еще колеблется. Приехал, чтобы начать процедуру развода с Любой, но хочет понравиться Монастырскому, чтобы остаться в Воронеже.

Можно какое-то время жить двумя параллельными жизнями, но очень трудно ломать одну жизнь во имя другой.

ПСИХУШКА

Мой рабочий день в «Подъеме» начался, как всегда, умиротворенно, с чтения газет, которые я купил по дороге в редакцию.

В одиннадцать часов звонок. Слышу: секретарь Анастасия Степановна говорит:

— Есть... Можно... — и мне: — Эдик!

Я подошел, взял трубку, говорю скучноватым голосом:

— Да?

Слышу приглушенный голос, похожий на голос Романа Харитоновна, но в то же время какой-то чужой, незнакомый. В голосе появились несвойственные энергичному Ромке медлительные интонации.

— Слушай, Эд, ты сейчас возьми у меня дома на столе пьесу Розова и привези мне.

Я помнил, что в воскресенье он должен был встретиться с Монастырским. Подумал, что он уже в театре и почему-либо не может сам съездить за пьесой. На всякий случай спросил:

— А ты где?

— Там около тебя никого нет? Никто не услышит, что я скажу?

— Нет, — отвечаю.

— Я в психиатрической.

На несколько секунд я онемел.

— Как ты туда попал?

— Медицинская ошибка.

ЛЮДИ И ВРЕМЯ

Приезжаю в психдиспансер. Меня пропустили в какой-то коридорчик, который закрывается с двух сторон на такие же замки, как в поезде. Минут через десять старушка вывела ко мне Романа. Он вошел в коридорчик угрюмый, в больничных штанах и пижаме. Штаны на коленях порваны, Сквозь дыры торчат коленки.

Роман сел:

— Принес пьесу?

— Нет.

Удивление:

— Почему?

— Любы не было дома.

Посмотрел на меня мутными глазами, закатывающимися куда-то под лоб. Потом наклонился так, что я уже не мог видеть его глаза и начал говорить о времени.

— Люди схитрили. Они разбили время на дни, недели, месяцы, годы, часы, минуты, чтобы легче было тратить время. Если взять слиток золота, его трудно потратить, когда он целиком. А раскроши его на мелкие кусочки, и легко будет потратить.

Все мои попытки вывести его из угрюмого состояния ни к чему не привели. Я ему:

— Брось, Роман, тебе сейчас надо посмотреть хорошую комедию.

— Нет, — мотнул он головой, — не хочу. Надо смотреть эпопеи.

ТАМАРА И РОДСТВЕННИКИ

Вечером я позвонил Тамаре. Утром она была в Воронеже. Я опоздал на вокзал на три минуты и уже не застал ее. Она кинулась искать своего Хромку по больницам.

Я приехал к Роману. В коридорчик меня не пустили. Медсестра сказала:

— Там — жена. И родители вон ждут.

— Какая жена?

— Я не знаю, какая. Сами разбирайтесь: кто жена, а кто не жена.

Я оглянулся: в холле было несколько человек. Увидел отца Романа. Он сидел на стуле, слегка наклонившись вперед. Я подошел, протянул руку:

— Здравствуйте!

Отец не подал мне руки.

— Я здороваться с тобой не хочу.

— Как хотите, — пожал я плечами и направился к выходу.

Он вскочил и ринулся за мною:

— Какое ты имеешь право сюда приходить? Кто разрешил? Как ты смел вызвать ее, — кивнул на Тамару, — сюда, негодяй?!

Мне показалось, что Роман может нас услышать, потому что отец кричал у двери в коридорчик. Я взял его за ладкан и спокойно сказал:

— Не кричите! Сейчас важно, чтобы Харитонов был здоров, а вовсе не то, с кем он будет жить: с Любой или Тамарой. Ну, прошу вас, тише. Он может нас услышать. Отойдем и спокойно поговорим.

— Мы в обкоме будем с тобой разговаривать.

ШОКОЛАД И АПЕЛЬСИНЫ

Тамара погостила в Воронеже два дня. Пропадала в психдиспансере, знакомясь с сестрами, врачами. Она добилась встречи с профессором Плессо, но ей не удалось увезти Романа в Москву. Он пробыл в психдиспансере почти месяц: с 9 января, когда после скандала с Любой, его привезли сюда, до 4 февраля, когда неожиданно выписали, точнее сказать, освободили.

Мне Роман не казался психически больным. В разговорах, поступках, жестах, он был такой, как всегда. Тамара слала из Москвы одну за другой посылки с шоколадом, апельсинами. Психдиспансер находился все на той же нашей главной улице — проспекте Революции, не очень далеко от журнала «Подъём». Я приходил к своему другу часто, приносил свежие газеты, апельсины, шоколад. Роман появлялся из-за двери, которую открывали ключом, пьяный от аминазина, с мутными глазами, но старался улыбаться.

— Ты знаешь, — сказал он мне через некоторое время. — Я здесь объелся шоколаду. Вот не думал, что заболēju и стану нужным всем.

Где-то после третьего свидания Роман перестал улыбаться. Он вышел, низко опустив голову, не глядя на меня, протянул руку:

— Привет!

Я разложил на скамейке газеты и апельсины, завернутые в газету. Роман взял за край кулька, газета развернулась и апельсины покатались с лавочки на пол. Роман поймал два и протянул их пробегающей медсестре:

— Аня!

Она хотела пробежать мимо, но Роман не пустил. Он загородил ей дорогу, попытался вложить в руки, которые она держала опущенными, два апельсина. Аня отрицательно покачала головой:

— Нет!

— Ну, возьми хоть два. От шоколада ты отказалась. Иначе я тебя не пущу.

— Тогда я пойду в другую дверь.

Она открыла ключом другую дверь. Роман положил апельсины на газету. Мы посидели немного молча. Роман был скучный, но все же сообщил мне:

— Я придумал два афоризма. Когда у меня спрашивают, что я здесь делаю, я отвечаю: «Валяю дурака».

Мы помолчали:

— А второй?

— Про голову... Моя голова — это рука, которой я ворочаю непосильные тяжести. Вот и надорвался.

Непосильные тяжести — это развод с прежней семьей, в которой оставался сын. И жизнь в новой семье, где родилась дочь.

После моего ухода он написал заявление, что не является социально опасным. Объяснил в заявлении, что больница ему наносит не только моральный ущерб, но и материальный. Бюллетень ему никто не оплатит: ни Топтыгин в лесу, ни Десятая больница.

Роман потребовал, чтобы его немедленно освободили. Попросил меня принести ему в портфеле джинсы, плащ и ботинки, которые мне должен дать Олег Шевченко. У них одинаковый размер ноги.

ТАМАРА ДАВЫДЕНКО

Позвонила редактор из Центрально-Черноземного издательства Тамара Давыденко:

— Эдик, мы хотим навестить Ромку. Как к нему попасть?

Я объяснил подробно и добавил:

— К нему лучше всего идти часа в четыре.

Буквально через минуту снова звонок.

— Эдик, а ты знаешь, что Романа выпустили?

— Как выпустили?

— Так. Сейчас позвонила Люся. Она сказала, что его выписали. И он, не заходя никуда, уехал в Москву.

ВТОРАЯ ПОПЫТКА РАЗВОДА

В марте Роман снова собрался в Воронеж. Длинный телефонный звонок, потом еще и еще. Лена, моя жена, говорит:

— Москва! — Взяла трубку. — Роман? Здравствуй, Роман!.. Зову, уже зову... Эдик!

Я взял трубку:

— Алло!

— Слушай, Эд, я сейчас тороплюсь на поезд Москва-Воронеж. Если у тебя будет охота, встретить меня.

— Хорошо.

— Ну, все!

Утром я был на вокзале. Услышал:

— Эд!

Обернулся и увидел своего друга во всем его столичном великолепии. Он шел по перрону, слегка покачивая портфелем — верный признак хорошего настроения.

Приблизился, поздоровался. Я отступил назад и еще раз оглядел его с ног до головы. Одет с иголочки! Черный заграничный плащ с погончиками, с золотыми застежками. Черный портфель тоже с золотыми застежками, золотыми брелоками, золотым значком фирмы. На ногах черные лакированные туфли с острыми носами и на тоненькой подошве. На голове синий берет с крохотным козырьком. Глаза веселые, вся фигура излучает энергию.

Мы вышли через открытые ворота на перроне и зашагали по улице. Роман сразу выложил литературную новость:

— Знаешь, какую сейчас в Москве поют песню?

— Какую?

— Отречемся от «Нового мира».

ФУРАЖКА ДЛЯ СЫНА

Роман пришел ко мне в «Подъём» и мрачно поздоровался. Молча ждал, пока я оденусь. На улице я его спросил:

— Ну?.. Какие дела.

— Ничего.

— У Любы был?

— Я поговорил с ней около суда, и все.

— Сегодня был суд?

— Да.

Отвечал он неохотно и шел рядом сосредоточенный, мрачный. Люба не дала развод. А судьи, кроме того, пытались уличить Романа в тунеядстве. Побродив по городу, мы зашли в ателье головных уборов. Вчера Роман купил сыну Федьке фуражку с золотым крабом. Но когда около здания суда он попробовал ее примерить сыну, фуражка оказалась мала. Надо было что-то с ней сделать.

Мастер, веселый парень, в брюках с оттопыренными коленками, за рубль разбил фуражку на болванке на номер больше. Из 51-го сделал 52-й.

Мы забрали фуражку и шли, не разговаривая. Роман молчал мрачно. Он приехал разводиться с женой, а Люба привела в суд сына, словно Роман и с ним развожился. Хорошо, что удалось купить красивую фуражку с золотым крабом для сына. И он ее надел и ушел в ней.

В апреле Роман снова приехал в Воронеж. О своем приезде не сообщил. Пришел, когда меня не было дома. Привел с собой какого-то парня с чемоданом, прямо с вокзала. Видимо, пил с ним в ресторане и оттуда поехал к нам. Бабушка увидела, что Роман вдребезги пьян. Да еще привел с собой какого-то пьяного верзилу. Она не пустила его в дом. Роман, спускаясь с лестницы, крикнул бабушке:

— Пашнев мне завидует!

Внизу остановился у почтовых ящиков, разгромил ячейку с номером нашей квартиры. Во дворе продолжал буйствовать, сломал скамейку у подъезда, оторвал доску от детской беседки...

Утром следующего дня я старался о Романи не думать. Через несколько дней позвонил по своим делам в издательство заведующему редакцией Юрию Семенову.

— Юрий Георгиевич?

И услышал в ответ:

— Ты меня уже не узнаешь?

— Роман?

— Да, это я, — голос был виноватый. — Слушай, Эд, ты все-таки приди на вокзал. Я сегодня уезжаю. Мне надо поговорить с тобой.

Я подумал и невольно вздохнул:

— Ладно. Только захвати книжку Данте. Она мне понадобится.

Я пришел, но разговора не получилось. Я забрал свою книжку и двинулся к выходу, а Роман вошел в вагон и уехал.

АНТРАКТ

Все! — решил я. Антракт. И это, действительно, был антракт. В конце апреля длинный междугородный звонок. Моя жена Елена взяла трубку.

— Можно, — сказала она

В трубке знакомый, слегка приглушенный голос моего друга.

— Эд, здорово.

— Ты где?

— На переговорном.

Через полчаса я был на переговорном пункте, на проспекте Революции. Поговорить не успели. Романа вызвали разговаривать с Москвой. Оказывается, он приехал с новороссийским поездом. И уже целый день находится в Воронеже. Состоялся суд. Роман свободен.

— Ты стал холостым?

— Жалко, что это продлится всего два дня, — сказал он.

ФИЛЬМОСКОП ДЛЯ ФЕДЬКИ

Февраль месяц, снег на тротуарах, на деревьях. Роман приехал из тайги. Ходит в шубе и рыжей шапке из лисьего хвоста. Движения порывисты, шаг быстрый. Он все время куда-то торопится. Приехал три дня назад, но потерялся где-то в Воронеже. Я сидел в редакции журнала «Подъём», ждал, что он позвонит. Но Роман, должно быть, навещал родственников, ему было не до меня.

Я собирался участвовать в передаче Воронежского телевидения, позвонил на телестудию редактору Аде Немченко и вдруг мне отвечает мужской голос:

— Привет, Пашнев!

— Кто это? — удивился я.

— Ты что, Пашнев?

— Харитонов? Что ты там делаешь?

— Иду к тебе. Ты из «Подъёма» звонишь?

— Да.

— Сейчас буду.

И он действительно появился в моем кабинете очень быстро, должно быть, подъехал на машине с кем-нибудь.

Вошел в распахнутой шубе с коробкой и детской саблей в ножнах. Сел рядом со мной за стол. Поставил коробку, положил саблю.

— Вооружен и очень опасен, — пошутил я.

— Федьке подарки купил.

Развязал коробку. Сначала мы разглядывали на металлических коробочках названия фильмов. Потом решили прокрутить фильмы на стене кабинета. Пришел из «Коммуны» Олег Шевченко, принес новые стихи Волохову, который лично просил его об этом. Заглянул на минутку к нам и остался. И мы втроем, как три подростка смотрели на стене изображения и читали надписи.

КАК ЛЕЧИТСЯ АРИТМИЯ

В июле по путевке Литфонда я уехал в Ялту. Жил в Доме творчества на горе, писал новую повесть. По утрам купался с Аллой Ахундовой, моей сокурсницей по Литературному институту. Она учила меня лежать неподвижно на спине и не тонуть. Это лежание на воде (по-тюленьи) требовало некоторого напряжения. Нужно было определенным образом вытягиваться, слегка выгибаясь назад. Наверное, я перетренировался. Рано утром, на следующий день у меня случился сердечный приступ. Но был он какой-то странный. Показалось, что сердце не бьется. Вызвали врача. Молодая симпатичная женщина потыкалась в мою грудь стетоскопом и выяснила: сердце бьется, но неправильно. То часто-часто стучит, то останавливается, и пауза такая, что, кажется, сердце остановилось. Очень неприятное ощущение.

Вернулся из Ялты в том году с аритмией. Так и жил с неправильно бьющимся сердцем несколько лет. Врачи ничего не могли сделать. К аритмии своей я вскоре привык и уже не жаловался. Работал за письменным столом, иногда и по ночам. Ездил из Воронежа в Москву и обратно.

В Москве с Романом Харитоновым мы встречались редко. А когда оказывались одновременно в Воронеже, виделись чуть ли не каждый день. Родной город помогал нам дружить.

В конце лета Роман вернулся из Сибири с большой стройки. Он больше года пробыл на БАМе, испытал на себе все трудности жизни в лесу, цыганскую романтику комсомольскихстроек.

В свое время Роман окончил строительный техникум. Строил дома в Воронеже. Как-то мы шли с ним по улице Карла Маркса, мимо двухэтажного дома, который стоял почти у самого спуска к реке. Роман, не останавливаясь, показал на окна.

— Этот дом я строил. Возводил стены, клал бетонные перекрытия. И вот с тех пор, когда иду мимо, думаю, не упадут ли?

Не упали. Дом до сих пор стоит, и люди в нем живут.

В Тынде Роман проявил незаурядные организаторские способности. Его избрали председателем постройкома. Комсомольские стройки щедро снабжались дефицитными товарами. Постройком распределял все это богатство. Вернувшись в Москву, мой друг привез много всякого добра: ковры, куртки, дубленки. Одну дубленку продал мне. Я долго потом в ней ходил по Москве и по Воронежу. И сейчас она висит в кладовке в московской квартире на тот случай, если мы вернемся и надо будет в чем-то ходить зимой.

Но поехал Роман в тайгу не за барахлом, он привез оттуда комсомольскую повесть о строительстве железной дороги. Некоторой время дописывал ее в Москве. А потом неожиданно позвонил мне из Воронежа:

— Пашнев, я приехал. Приходи — прочту гениальную повесть.

— Куда? Ты сейчас где?

— Я остановился у матери. Запиши адрес.

Он продиктовал: «Краснозвездная, 38, кв. 67». Это было недалеко от моей Южно-Моравской улицы. Мать Харитонова была в отпуске — уехала с отчимом отдыхать на юг.

На улице шел дождь. Около тротуаров земля раскисла. Прохожие натаскали много жидкой грязи на асфальт. А в квартире, куда я поднялся по ступенькам лестницы, придерживая рукой свое неправильное сердцебиение, было очень чисто: пол блестел, мебель сияла. Харитонов ходил по доскам пола, по коврикам в прихожей босиком. Я сунул в угол рядом с вешалкой свой зонтик-трость, снял ботинки и в одних носках прошлепал в большую комнату. Посредине стоял круглый стол, накрытый тяжелой бархатной скатертью с золотистыми нитками по всей поверхности и в бахроме. На скатерти лежала папка с рукописью. Я сел на стул напротив этой папки:

— Публика заняла свои места. Давай — удивляй.

Роман сел на стул, положил руки на папку:

— Я уже отнес в «Новый мир».

— Ты же говорил, что в Москве поют песню «Отречемся от «Нового мира».

— Я не пою.

Он склонился над толстой папкой, торжественно развязал ее. Вдохнул глубоко и начал читать. Наконец, Роман перевернул последнюю страницу. Повесть показалась интересной, но не очень оригинальной. Это была густая таежная проза, немного очерковая, но с юмором.

— Получилось, — сказал я. — Крепко написано.

Глаза у Романа радостно заблестели:

— Вот напечатают в «Новом мире», и я сразу стану знаменитым.

— Напечатают, — скептически продолжил я, — и никто об этом не узнает.

Я не хотел обидеть своего друга. Просто пофилософствовал. Вот, мол, пишем

гениальные вещи, а нас критика не замечает. Но Харитонов вдруг вскочил со стула и крикнул:

— Пошел вон, завистливый кретин!

Я торопливо поднялся, прошлепал в прихожую. Роман шел за мной сзади, очень близко. Я наклонился, надевая ботинки, но завязывать шнурки не стал. Мне казалось, сейчас он мне даст пинком по заду. Еще не выпрямившись до конца, я уже открывал дверь. Выскочил на лестничную площадку, забыв у вешалки свой зонти-трость. Спускаясь по лестнице, ни о чем не думал, просто торопился уйти подальше от этой квартиры, от этого дома. Я был ошеломлен. И дождь не мог охладить моего жаркого недоумения. Горели щеки от стыда, что я так позорно бежал. Я шел под дождем без зонта, в ботинках с незавязанными шнурками, не замечая луж и грязи. Асфальтовая дорожка привела меня к моему девятиэтажному дому с вывеской книжного магазина на первом этаже. Я поднялся на свой восьмой этаж, открыл дверь. Из квартиры, заставленной книжными полками, на меня пахло уютным теплом. Я зачем-то прошел на кухню, затем в большую комнату. Включил телевизор и, стряхнув с ног ботинки, лег на тахту. По телевизору шла какая-то передача. Я смотрел на экран, не видя изображения, не слыша того, что говорят. Привычным жестом положил руку на грудь, ощутив всей грудью, дыханием пустоту внутри себя. Глубоко и скорбно вздохнул несколько раз. И вдруг ощутил: чего-то не хватает. Прислушался к себе и понял: нет аритмии. И с тех пор по сей день — нет аритмии. Вылечил меня Харитонов, крикнув:

— Пошел вон, завистливый кретин!

Харитонов уехал в Москву. Я несколько месяцев жил в Воронеже, дописывал пьесу. Вдруг звонок:

— Пашнев, привет!

И по обращению, и по голосу сразу узнал Романа. Ответил:

— Привет!

— Чем занимаешься?

— Работаю.

— Над чем?

— Над собой.

— Я вот что позвонил. У матери остался твой зонт. Его забрал Витька, брат мой. Запиши телефон.

— Хорошо, сейчас возьму чем записать. Диктуй.

Он продиктовал мне телефон.

— Забери зонт. Адрес он тебе сам скажет. Я был в отъезде, не мог раньше позвонить. Ну, будь!

— Будь! — ответил я.

Позвонил он, конечно, чтобы помириться. Но примирения не случилось.

Несколько дней я не звонил, хотя и помнил, что надо позвонить. Я уже примирился с тем, что потерял свой зонти-трость. Но после звонка Харитонova надо было звонить, идти, хотя бы для того, чтобы у Харитонova не было больше повода звонить мне.

Брат Витька ответил после первого гудка. Он весело продиктовал мне адрес, всем своим тоном подчеркивая, что между друзьями все бывает и все проходит, а друзья остаются друзьями. Продиктовал подробно свой адрес, попросил повторить.

Поплутал немного между домами, но все же довольно быстро я нашел нужный. Поднялся на этаж, позвонил в квартиру. Дверь тут же открылась, словно Витька стял за ней наготове.

— А я выходил тебя встречать.

— Я немного заблудился.

Он отдал мне мой длинный зонт с ручкой, на который можно было опираться, как на трость. Я вышел через переулоч к троллейбусу и вскоре был дома, очень довольный тем, что мой зонт вернулся ко мне. Теперь меня с Харитоновым больше ничего вроде не связывало.

Я ошибался. Мы потом еще долго дружили, пока он не умер.

Часть пятая

ПИСАТЕЛИ-ПРИЯТЕЛИ ИЗ ЭПОХИ СОВЕТСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

ЮРИЙ ТРЕТЬЯКОВ

ВСТРЕЧА НА ВОКЗАЛЕ

Встретил на вокзале Юрия Третьякова с женой. Он увидел меня, начал махать рукой. Когда я подошел, объяснил:

— Едем с Клавкой в Ташкент.

— «Ташкент — город хлебный», — напомнил я ему название известной книги Неверова.

— Да, на хлеб есть. За солнцем!

— Счастливого пути!

— Ну что? — неожиданно спросил он. — Будем убивать Жигульскую?

Эту женщину, Александру Жигульскую, журналистку из газеты «Молодой коммунар», только что назначили главным редактором Центрально-Черноземного издательства. Я с улыбкой ответил:

— Красивую, синеглазую женщину назначили главредом, что ты волнуешься? Она, как английская королева, будет царствовать, а не править. Пока вроде не проявляет никакой активности

— Прояви! Надо только подождать. Откуда взялась эта щука в наших воронежских водах?

ПОХОДКА ВЫСОКОГО ЧЕЛОВЕКА

Юрий Третьяков еще достаточно молод, но ходит сильно ссутулившись. Шагает! Не ходит, а именно шагает. И даже не шагает, а вышагивает, размеренно переставляя ноги и в такт, как во время замедленной съемки, размахивает портфелем. С первого взгляда на этого высокого нескладного человека видно: не умеет ходить, разучился. Неделями, месяцами сидит дома, пишет. А потом однажды выходит на улицу и неумело, по-аистиному, шагает.

В ГОСТЯХ У ТРЕТЬЯКОВА

Его квартира находится на самом последнем этаже. Звонка нет, почтового ящика нет. Стучусь. За дверью слышатся шаркающие шаги. Открывается дверь. Стоит, загораживая собой прихожую длинный, сутулый человек, сильно обросший черной щетиной. На его истощенном лице возникло подобие улыбки:

— Заходи.

Раздеваюсь, ставлю к стене свой портфель, сажусь в уютное кресло и начинаю с ним, как всегда, бессодержательный разговор. Мы перескакиваем с одного на другое. Только что говорили о последнем романе Аксенова, и вдруг он спрашивает:

— Ты не знаешь, какая у приемника должна быть антенна?

Я служил в армии радистом, но ответить на его вопрос не могу. Нас обслуживали специалисты, а я просто дежурил на радиостанции, принимал и отправлял сообщения.

Потом разговор переходит на его творчество. Он смеется:

— Бреженер написал на меня рецензию, внутреннюю, на книгу «Ошибки Радика и Женьки». Я думал, не догадаются, что я их, очень советских, собираюсь обмануть. Догадались, гады.

И он восхищенно разводит руками...

Я понимаю, для него литература давно уже превратилась в такую забавную игру: кто кого обманет. Написав свою очередную детскую повесть, Третьяков относит ее в журнал или в издательство и с нетерпением ждет, догадаются ли они или не догадаются, что он их хочет обмануть. Хочет подsunуть под видом игры критику системы победившего социализма. Он пишет не о том, что его взволновало, а то, что он совершенно сознательно сочинил, сконструировал, замаскировал. Отсутствие вдохновения компенсирует умением подделывать стиль. Рядом на письменном столе всегда лежит раскрытый томик Марка Твена «Том Сойер». Он читает и пишет, читает и пишет. Получается почти так же хорошо, как у Марка Твена. Посмеявшись, Юрий снова вспоминает Бреженера.

— «Подъём» обманул, они напечатали. «Советскую Россию» (издательство) обманул, они напечатали. А Бреженер догадался («Детская литература»). Ушлый, такой же, как я.

ДЕТЕКТИВЫ

Для удовольствия Юрий Третьяков читал детективы. Добывал их везде, где только мог. Крал с полок у знакомых. Но когда был моложе и высоко ставил классическую литературу XIX века, предложил своим друзьям в Литературном институте организовать общество «Антидетектив», которое бы занималось литературным вредительством.

Каждый член общества должен был ходить по библиотекам и по гостям и где только можно выдирал несколько страниц в конце книги, чтобы любители авантюрного чтения не могли узнать, чем закончилась та или иная история.

В этом детском писателе много было детского, потому он и книги писал интересные для детей. Мог бы стать выдающимся детским писателем, если бы не пил.

ДВОЕ В ОДНОМ

Трезвый Юрий Третьяков — нежной души человек, скромный, застенчивый. Он входит в редакцию «Подъёма» чуть сутулясь. Смотрит на всех восторженно. Пытается понять, как воспринимают его появление. Если воспринимают хорошо, расплывается в улыбке, садится расслабленно на диван или в кресло.

— Федор Сергеевич, — обращается к Волохову, — у меня вышла книжка. Можно, я вам подарю?

Книжки дарить он любит. Приходит в гости к Белле Немировской (режиссер на телестудии), Зиновию Анчиполовскому (завотделом критики в журнале), делает на титульном листе дружественные надписи. Потом напивается, идет по всем адресам. Сам берет с полок свои книжки. Зачеркнув посвящение, пишет новое, прямо противоположное.



Юрий Третьяков

Еду в Москву. Ночь, тускло светит ночная лампа в вагоне. Вышел из туалета, слышу громкий разговор в тамбуре:

— Между нами, девочками, говоря...

Вон мо...

Неужели Третьяков? Выхожу в тамбур. Точно — Третьяков. Нетвердо стоит на ногах, одной рукой держит за галстук какого-то парня, в другой руке бутылка «Кагора». Увидел меня, удивился. И от удивления выпустил галстук парня.

— Это знаешь кто?

— Кто?

Очки многозначительно блеснули:

— За мной следят.

В руке у него откуда-то появилась железная кружка.

— Хочешь выпить?

— Нет.

Махнул презрительно рукой, налил себе, выпил. Затем заставил меня взять бутылку в руки и держать. Время от времени, не глядя, он протягивал мне кружку и я ему немножко наливал. Так мы и ехали в тамбуре до самой Москвы. Утром уже без бутылки, без кружки он начал прихорашиваться. Смотрю, достал из папки комочек ваты, начал пудриться. Припудрил белым красный нос, щеки, спросил:

— Теперь можно идти в «Детгиз»?

— Можно.

Третьяков спрятал ватку и баночку, оперся локтем о столик и повернулся к окну. До прибытия поезда в Москву, на Казанский вокзал, оставались минуты.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖИГУЛЬСКАЯ

Очень скоро Юрий Третьяков убедился: «убивать» Жигульскую не надо. Его книги, написанные в ритме «Тома Сойера» и «Гекльберри Финна», как печатались, так и продолжали печататься. На них был спрос. Книготорг закупал повести и рассказы Юрия Третьякова большими тиражами. Советские дети охотно читали его книги: в них много было игры, приключений.

Я всегда удивлялся: алкоголик, не имеет своих детей, но пишет детские книги, а подростки находят их интересными. Должно быть, сохранил в себе светлое чувство детства и черпал художественную энергию в светлом детском мире. И даже теперь, когда его самого уже давно нет и советских детей нет, а есть дети нового мира, Юрия Третьякова продолжают активно издавать и читать. В Санкт-Петербурге издательство «Речь» переиздало сразу восемь книг Юрия Третьякова. Это означает, что несоветские дети находят в книгах этого писателя то, что им нужно.

Но вернемся к Жигульской, которую Юрий Третьяков назвал «щукой». Оказавшись в кресле главного редактора издательства, «щука» сама написала книгу для детей «Бригантина поднимает паруса». Что-то романтическое про корабль с парусами, на котором куда-то плывут дети. Точнее не могу сказать: не читал,

видел только картинку. Издательство выпустило книгу в подарочном издании большим форматом с большими картинками. Текста там было немного. Но все же Александра Федоровна стала автором книги. И ее, как писателя, пригласили выступить в Доме пионеров на празднике детской книги. Она позвонила мне и попросила пойти вместе с ней. На встречу с собой Александра Федоровна захватила несколько экземпляров «Бригантины...». Я взял для подарка свою книгу прозы «Хромой пес». Читать я собирался детские стихи, которых у меня было много, но я их не публиковал. Это был случай — посмотреть, как дети воспримут мои детские стихи.

Но выступали не мы. Нас (писателей) посадили в первом ряду в качестве почетных гостей. А выступали мальчики и девочки в красных галстуках. Они читали стихи из книг, выпущенных Центрально-Черноземным издательством. В заключение подарили нам (один на двоих) трехметровый карандаш «Пионер», склеенный из бумаги.

Из Дома пионеров мы вышли, довольные подарком. Александра Федоровна несла карандаш, держа его обеими руками. Я нес ее сумку с продуктами. Женщина сначала домашняя хозяйка, а потом уже главный редактор издательства, автор книги. Александра Федоровна была возбуждена и беспрерывно говорила, говорила:

— Ты знаешь, Эдик, сейчас намечается массовый уход физиков-теоретиков в религию. На свете столько необъяснимых фактов. А наши писатели, они же ничего не читают.

Я шагал, согласно кивал головой. Мы дошли до ее дома. У подъезда она забрала сумку с продуктами и отдала мне карандаш.

— Пусть будет у тебя.

С этим карандашом я вышел на проспект Революции. Мне надо было зайти в редакцию журнала «Подъём». Карандаш я приткнул в углу кабинета за своим креслом так, чтобы видна была надпись «Пионер». Тут он и стоял несколько дней. Потом я решил отнести его домой. На Комиссаржевской улице, когда я шел к трамвайной остановке, меня увидели девчонки. И одна из них крикнула:

— Лида, вон тот карандаш!..

Карандаш запомнила, а писателя — нет. Через несколько дней я пришел в издательство к главному художнику, Свете Ратмировой. Она должна была показать мне эскиз обложки к моим сказкам «Приключения желудевого человечка». Крупная красивая женщина разложила передо мной на столе рисунки Виктора Прокофьева и как бы невзначай сказала:

— А я видела вас с Жигульской. Вы гуляли, а я ехала на трамвае, — и так ехидно добавила со смехом, — тоже нашел себе подружку.

ЮРИЙ ДАНИЛОВИЧ ГОНЧАРОВ

В своих воспоминаниях я не даю оценок художественным произведениям писателя, с которым был близко знаком, не анализирую творчество. Юрий Гончаров — лауреат Государственной премии России; кроме того, он лауреат премии Союза писателей РСФСР, лауреат премии имени А. Платонова. Это факты внешней биографии — сведения, которые есть в энциклопедии. А я хочу вспомнить другое, трудноуловимое, что проявляется в мелочах. Хорошо сказал о писателях Булат Окуджава:

— Каждый пишет, как он дышит.

В своих воспоминаниях я не о том, как пишет, я о том, как дышит Юрий Данилович Гончаров.

ПОРЯДОК В КВАРТИРЕ

Когдаходишь в его квартиру, еще только в коридор, со всех сторон, с полок и этажерок глядит какой-то особый быт умеренности, рассудительности и скупости.

На полочке около самой двери стоит раскрытый читательский билет. Он поставлен здесь и поставлен именно таким образом для того, чтобы Гончаров Юрий Данилович не забыл его взять, когда пойдет в библиотеку

На ящике лежат три картофелины, лежат аккуратно, не забытые здесь, а специально положенные.

В комнате прямо на полу стоит старый приемник.

Письменного стола нет, есть неуклюжий квадратный стол на четыре персоны, заваленный книгами и рукописями. Среди книг вдруг замечаю обложку с полуголой женщиной. Боевик о жизни Бриджит Бардо на английском языке. Я тянусь к этой книге, листаю ее. А Гончаров ходит в полосатых пижамных штанах. Одновременно наводит порядок на столе и морщится по поводу таких книг с полуголыми обложками и таких женщин, как Бриджит Бардо.

— А грудь у нее ничего, — говорю я.

— Ерунда, — отмахивается он. — Ты посмотри, какая она глупая, а на мужей ее посмотри.

Он выхватывает у меня книжку, быстро находит нужную фотографию и, ткнув в нее пальцем, роняет пренебрежительно книжку на стол.

МЕБЕЛЬ И КЛЮЧИ

Гончаров получил квартиру на проспекте Революции, в доме, который строили для начальства. Окна его квартиры выходят в городской сад. Летом он будет слушать музыку, доносящуюся с танцплощадки. В последние годы он жил надеждой, что вот получит новую квартиру и только тогда купит новую мебель. И вот этот момент наступил. Вся старую мебель Гончаров оставил на старой квартире. Стол, несколько полок и кресло забрал Виктор Поляков. Часть мебели осталась Женьке Титаренко, который вселился в однокомнатную квартиру Гончарова.

За ордером на квартиру Юрий Гончаров и Женька Титаренко ходили в райисполком вместе.

Получили ордера, вышли в коридор. Гончаров достал ключи, позвенел ими, прежде чем отдать Женьке. Сказал:

— Покажи ордер.

Титаренко показал.

— Получай ключи!

Конечно, это шутка. Но человек он педантичный, мог спросить и всерьез.

ЗЕЛЕННЫЕ ШТАНЫ

Через несколько дней мы перевозили Гончарова на новую квартиру. Он перетряхивал свои тряпочки-бумажечки и спрашивал:

— Зеленые штаны никому не нужны?

— Нет.

— Полотенце старое, но хорошее — никому не нужно?

— Нет.

Стоял, размахивал зелеными штанами и старым полотенцем, шутливо куражился.

— Баночка из-под крема не нужна?

— Нет.

- Велосипедная камера?
- Мне нужна, — сказала Бахарева.
- Забирай.

Все рукописи были упакованы самым аккуратным образом. Папки перевязаны, на каждой написано: «Черновик», «Окончательный вариант». На двух папках, довольно толстых, было выведено: «Рецензии на рукописи начинающих».

ВСТРЕЧА НА УЛИЦЕ

Идет из магазина, серый плащ распахнут, на голове синий берет, съехал на бок. Обе руки заняты, в них — бутылки, под мышками — бутылки с минеральной водой. Он уже сворачивал к дому, когда я его окликнул:

- Юрий Данилович!
- Обернулся, обрадовался:
- А-а, приехал.

Постояли, поговорили. Он в нескольких словах рассказал, как съездил в Карпаты. Я коротко поделился впечатлениями от Хабаровска. Начали говорить о последнем спектакле в нашем театре. Он устал держать бутылки с боржомом, нагнувшись, поставил их у ног. Я машинально пересчитал: бутылок было восемь. Потом он снова стал запикивать их под мышки.

- Ну, заходи, покажу фотографии Стокгольма.

ОБРАЗЦОВЫЙ ДОМ

На дверях его нового дома висит плакат. На листе ватмана нарисован пионерский значок и крупными буквами написано: «ДОМ БЕЗ ДВОЕК».

- Гончаров живет в доме без двоек.

КНИГИ ИЗ ЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ

Каждый раз он ловит меня чуть ли не за хлястик пиджака и спрашивает:

- Читал Герцена «О развитии революционных идей в России»?
- Нет.
- Ну, как же так. Я тебе принесу.

И он, действительно, принес. Но не успел я вернуть ему Герцена, как он меня прижал в коридоре к пыльной батарее:

- Читал Степняка-Кравчинского «Россия под властью царей»?
- Нет.

- Ужас в глазах:
- Нет, серьезно?

Я, конечно, ужасно смущен. И когда он мне предлагает немедленно, завтра же принести книгу, радостно киваю. «Слава богу, выкрутился».

И вот я сижу и читаю «Россию под властью царей». Книга эта интересна не столько своим содержанием, сколько пометками Гончарова. Кравчинский пишет: «Князь Репнин был посажен на кол и, умирая медленной смертью в жестоких мучениях, несчастный славил царя, своего государя и убийцу».

- Гончаров пишет на полях: «Якир, Эйхе и пр., и пр.».

Кравчинский пишет: «Жертвам Ивана IV иногда удавалось спастись бегством, но историки не обнаружили ни малейшего следа какого-нибудь заговора против него».

- Гончаров на полях пишет: «Сталин».

ЗАПАСЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК

В прошлом году все лето не было 92-го бензина. В этом году Гончаров всю весну покупал канистры, заполнял бензином и отвозил в деревню Даньшино. В окрестностях этой деревни, неподалеку от реки, закапывал между холмами и деревьями канистры в землю. Потом ездил вроде бы на рыбалку, а иногда и в самом деле на рыбалку, откапывал канистры, заправлял автомобиль.

Запасливый, предусмотрительный человек.



Юрий Гончаров

ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА

О его скупости и жадности ходят легенды. Сегодня одну из них рассказала главный редактор Ц-Ч издательства Жигульская со слов Кораблинова.

Ехали они через деревню. Гончаров за рулем. Задавил гуся.

Хозяин потребовал заплатить три рубля. Гончаров долго препирался, потом все же заплатил. А гуся бросил в багажник.

ШАРИКОВЫЕ РУЧКИ

Юрий Данилович — частый гость в журнале «Подъём». Вернулся из туристической поездки и сразу заявился к нам в редакцию. Достал из кармана целую горсть шариковых ручек.

— Вот, привез из Занзибара. Берите!

Гридчин взял зеленую ручку, Анчиполовский — красную. Я взял синюю.

— Ну, рассказывай, как там, в Занзибаре? — сказал Гридчин.

— Много было интересного. В Красном море ловили акул. Одну поймали большую. Она висела над палубой на нейлоновом канате. Я ее фотографировал с риском для жизни. Она болталась и клала зубы. В результате путешествия привез два диплома о пересечении экватора.

— А это что? — заинтересовался Гридчин круглым свертком.

— Это Волохову. Секретный подарок от Михаила Домогацких. Бутылка виски... Волохов будет сегодня?

— Сейчас придет, — пообещал Гридчин.

Михаил Домогацких — легендарная личность. Журналист из Воронежа, был редактором «Молодого коммунара». Выучил китайский язык, стал спецкором газеты «Правда» и теперь постоянно находится за границей.

Про него Гончаров коротко сказал:

— Имеет виллу, «Форд» и слугу-боя.

Гончаров привозил в подарок шариковые ручки, занзибарские карандаши. На этот раз, вернувшись из Дании, он привез полный карман значков. Зная его скупость, Волохов сказал:

— Где-нибудь лежали, он и нагреб целый карман.

Мы встретились, я пожал ему руку, с неприятным восхищением сказал:

— Завидный вы человек, Юрий Данилович!
— Почему? — приятно смутился он.
— По заграницам ездите, вот и значок у вас на лацкане новый.
Он загремел рукой в кармане:
— Хочешь, я тебе подарю значок?
— Конечно.

Гончаров достал горсть значков, покопался, выбрал голубоватый, изображающий одновременно снежинку и солнце.

Значок мне был абсолютно не нужен. Из чувства благодарности я приложил его к лацкану, где у меня уже был значок Литературного института.

— Два неудобно, — сказал я.
— А ты на другой борт приколи.
— Нет, на другой костюм приколю.

Сунул значок в карман, спускаясь по лестнице, подумал: а другого костюма у меня нет.

МЕЗЕНЦЕВ — ДРУГ ДЕТСТВА

Необыкновенно ласковый, с кошачьими повадками человек. Ласковость его такова, что все время кажется, будто он выгибает свою спину не от подобострастия, а для прыжка.

Рот, вытянутый в одну линию, ехидно изгибается, словно в этих изгибах он пытается спрятать всю свою хищность.

При встречах радостно вскрикивает, взмахивает руками и, схватив твою руку, долго трясет в подобострастном пожатии. Но это только мнимое подобострастие. Мне пришлось присутствовать, когда Юрий Данилович Гончаров ему сказал:

— Что ты извиваешься, как змея?

И Мезенцев, не переставая ласково улыбаться, огрызнулся:

— А ты, запершись в уборной, бутерброды с салом жрал, чтоб мы не видели.

Сказал и ласково обнял за плечи, заглянул в глаза.

С Гончаровым они учились в одной школе. И это (бутерброды жрал) Юрий Гончаров, молча проглотил. Только успел высокомерно улыбнуться.

Со мной эта радиожурналистская пантера тоже здороваётся обеими руками. И всегда выкрикивает при этом:

— Маркизу Луи де Бройлю.

Как-то я читал стихотворение, посвященное физику Луи де Бройлю во Дворце культуры имени Карла Маркса. Мезенцев там присутствовал, записывал что-то для своей радиопередачи.

Сегодня Олег Шевченко хотел выставить его из своего кабинета, чтобы мы могли поговорить без свидетелей. Радиожурналист хитро заупрямился: обнял Олега за плечи, потрогал значок на его груди, изображающий солнышко.

— Подари!

— Не могу.

— Миленький Олежка, ну, подари.

— Нет.

— Киса, ну подари мне значок.

— Нет. Я сам его купил за полтинник. Это же произведение искусства.

Мезенцев тотчас же вспомнил, что у него есть подлинник — картина Шарля Фуко.

— Мне эту картину подарил один малый, ограбивший какой-то музей.

Тут же он изобразил, как один знаток живописи пытался выпросить у него картину Шарля Фуко.

— Знаешь, — сказал знаток, — у меня есть шикарная репродукция Репина.

— Миленький мой, я Репина не люблю.

— Это ты пока не увидел великого Репина в своей комнате.

Для словаря Мезенцева характерны все, какие есть, ласкательные суффиксы. Любит ходить в обнимку и нашептывать какую-нибудь гадость на ухо. Мне он сказал:

— Понравилась твоя книжка.

— Да?

— Да. Честное слово. Я вынужден следить за литературой. Мне нужно кормить еще четырех товарищей. Но я на этот раз прочитал и даже забыл, что надо написать рецензию. Понравилась.

ГОНЧАРОВ И ТЕАТР

Воронеж и Брно — города-побратимы. Глеб Дроздов поставил в этом чешском городе спектакль о Ленине «Синие кони на красной траве». Потом был обмен актерами. Чешский актер Йозеф Карлик приехал в Воронеж, чтобы сыграть роль Ленина на воронежской сцене. А русский актер Вадим Соколов ездил в Брно, чтобы сыграть роль Ленина на чешской сцене.

Параллельно шел обмен режиссерами.

Яромир Роштинский, руководитель Брненского театра, выбрал для постановки в Воронеже пьесу Богумила Грабала «Поезда под острым наблюдением». Действие происходило в период немецкой оккупации Чехословакии. Страна была разделена на Словакию, считающуюся союзницей Германии, и на Чехию и Моравию, насильственно присоединенных к Третьему рейху. Американцы и англичане бомбили Дрезден, который должен был отойти к советской зоне оккупации, а через Чехию и Моравию все еще шли поезда с немецкими частями на Восточный фронт. Чешские патриоты, живущие на маленькой станции, где продолжали действовать оккупационные порядки протектората, саботировали распоряжения немецких властей, относились без должного почтения к двойной государственной символике. На печатях государственной железной дороги стояли немецкие и чешские буквы рядом. Дежурный телеграфист Губичка, задрав юбку молоденькой телеграфистке Зденичке, ставил ей на голую попку эти печати несмываемой краской и оба испытывали большое сексуальное и политическое удовольствие от того, что они нежничали и одновременно оскверняли печати ненавистного им протектората.

Главный герой Милош, сексуально озабоченный молодой человек, мечтал стать мужчиной и мечтал совершить подвиг. Опытная женщина, партизанка, зная, что он отправляется на опасное задание, научила его любви, и Милош совершил подвиг, взорвал эшелон с военной техникой и солдатами. Погиб, выкрикнув:

— Я — мужчина! Я — мужчина!

Таков грубый пересказ фабулы пьесы «Поезда под острым наблюдением». Это было непривычное для советского театра произведение с элементами фрейдистской психологии.

Глеб Дроздов привез пьесу из Чехословакии, я уехал в Дубулты, в дом творчества писателей, и все лето занимался переводом. В моем переложении пьеса получила название «Преследование поезда». Теперь надо было отнести пьесу в обком партии и ждать одобрения и разрешения на постановку.

Днем пришел в редакцию журнала «Подъём» писатель Юрий Гончаров. Он присутствовал на общественном просмотре, мне был известен его неодобрительный отзыв о спектакле. Я хотел уйти. Гончаров меня остановил:

— Эдуард, подожди!

Мы перешли в кабинет главного редактора. Там уже находились противники спектакля Иван Евсеенко, Валентин Семенов. Гончаров сел рядом с ними за стол. Я был один против них, как подсудимый.

— Слушай, тебе действительно все это нравится? — спросил меня Гончаров дрожащими губами. — Я тебе признаюсь, я всю ночь не спал и сейчас никак не могу успокоиться. Извини и не обижайся, но надо что-то делать, надо не пустить этот спектакль.

— Да, мне нравится этот спектакль, — сказал я спокойно, хотя чувствовал нарастающее внутреннее напряжение.

И тут обычно сдержанный Гончаров заорал, как будто его укусили:

— Моя дочь посмотрит такое, а потом придет и будет у меня на глазах... А что я скажу? Она мне ответит: «А в театре показывают».

— Что вы так нервничаете? — сказал я. — Это же пьеса, а не баррикада. Если мужик бабе ставит на заднице печать, что это — контрреволюция?

— Хуже! Это ползучая контрреволюция. Вы не знаете литературы. Это уже было — арцыбашевщина!

— Если было, значит, может быть еще раз.

— Горький поссорился с Андреевым, своим другом, из-за этого.

Все это он мне орал, время от времени демонстрируя неприличный жест руками.

— Посмотрите на себя, — сказал я Гончарову, — что вы мне показываете? Извините, если я после этого вам руки не подам.

— Почему не подашь?

— Потому что мне будет противно пожимать после всего этого вашу руку.

Я тихонько вышел из кабинета.

Не знаю, долго ли еще буйствовал там Юрий Гончаров.

Перед этим у неистового ревнителя нравственности состоялся разговор с начальником управления культуры Олегом Кирилловичем Застрожным. Гончаров требовал запретить спектакль:

— Мы — фронтовики, не должны отступать перед пошлостью, — пытался он склонить на свою сторону начальника управления культуры.

Застрожный ему сказал:

— Я провел всю войну на фронте. Меня это не шокирует.

Гончаров на этом не остановился. Он написал письмо в обком, пожаловался, что не может пойти с дочерью в театр, потому что там растлевают молодежь.

На собрании творческой интеллигенции Г.Н. Троепольский сказал:

— Подавляющее большинство присутствующих поддерживают Пашнева и Дроздова. Но даже если Гончаров прав, а я допускаю, что он может быть прав, то все равно, письмо в таком тоне я отказываюсь обсуждать. Вы лучше подумайте с Пашневым о своей двадцатилетней дружбе.

Троепольский хотел нас помирить, но из этого ничего не вышло. Мы, действительно, вместе ездили на рыбалку, жили в палатках в лесу. Возили в машине футбольный мяч. И на поляне, за палатками, вдвоем играли в футбол. Недавно дочь Гончарова прислала мне фотографию: мы с ее отцом стоим в обнимку на фоне деревьев. Гончаров во вратарских перчатках, я держу мяч в руке, которым мы только что играли. Победила дружба. Да, мы дружили. И в этой дружбе были моменты, которые я вспоминаю с улыбкой и радостью.

Юрий Данилович был заядлый автомобилист. Однажды остановился на Задонском шоссе, чтобы отойти на минутку в кусты. И обнаружил в лесном массиве огромный котлован, заполненный водой. Что-то строили недалеко от города, выбрали землю под глубокий фундамент, но высотное здание не возвели. Пошли дожди, обнаружилось в раскопанной земле родники, подпитывающие котлован водой. По краям появились в воде болотные заросли. Котлован превратился в озеро.

Юрий Данилович привез меня к этому неизвестному озеру. Мы постояли на берегу.

— Сюда надо запустить рыбу, — сказал он.

Было в Гончарове, как и в Третьякове, что-то неистребимо детское. Я подумал об этом, вспоминая показанное мне лесное озеро. Хорошие писатели получают из людей, которые сберегли детскую душу и в самые неожиданные моменты обращаются к ней, совершая детские поступки. В Даньшино Юрий Гончаров закапывал канистры с бензином, чтобы иметь запас на случай перебоев с горючим во время посевной и летних работ по уборке урожая. А здесь, в лесу, он решил оборудовать для себя озеро с рыбой.

Юрий Гончаров и Владимир Кораблинов как раз получили сигнальный экземпляр, написанного в соавторстве детективного романа «Бардадым — король черной масти». Юрий Данилович, не остывший от работы над романом, сказал:

— Назовем этот водоем «Бардадым-озеро».

Так я стал соавтором тайно созданного в лесу озера. На другой день мы, как обычно, поехали на рыбалку в Крысиные дворики, к малым озерам. Наловили рыбы, но повезли не домой, а к Бардадым-озеру. В ведре плескались мелкие караси, но было два величиной с ладонь. Каждого малька и особенно больших карасей мы осторожно выпустили в воду. И они, булькнув, ушли в глубину. Мы ходили по берегу, стараясь увидеть, где они там? Но ничего не увидели: булькнули и пропали.

Еще несколько раз мы привозили к озеру живых карасей в ведре с водой. Вглядывались в темную гладь озера, пытаясь увидеть тех, что выпустили раньше. Даже пытались с ними разговаривать.

— Как здоровье, караси? — спрашивал Юрий Данилович.

— Ничего себе, мерси, — отвечал я за больших и маленьких карасей, привезенных из Крысиных дворики.

Мы ходили по берегу нашего личного озера, высматривая наших рыб. Вроде бы кверху белым брюхом не плавали, значит, прижились, плавают в глубине?..

Не знаю, чем закончилась детская затея Гончарова. После нашей ссоры в журнале «Подъём», я больше к Бардадым-озеру не ездил. Но когда прочитал, что Гончаров стал лауреатом Государственной премии России, не удержался, послал ему поздравительную телеграмму, как лауреат — лауреату.

АЛЕША ПРАСОЛОВ

СТИХИ БЕЗ ФАМИЛИИ АВТОРА

28 ноября 1962 года в большом зале Воронежской писательской организации состоялся литературный вторник, на котором пять молодых поэтов (Олег Шевченко, Людмила Бахарева, Эдуард Пашнев, Роман Харитонов, Виктор Панкратов) объявили о создании литературной мастерской «Республика слова». Роман Харитонов и Виктор Панкратов не присутствовали.

Мои стихи, прочитанные на вторнике, были напечатаны в февральском номере журнала «Подъём» за 1963 год.

ИЗ ДНЕВНИКА:

26 февраля 1963 г. С моей «республиканской» подборкой в журнале «Подъём» происходят прямо чудеса какие-то. Принесли сигнальный номер, листаю, нахожу свои стихи. Но где же фамилия? Фамилии нет. Анонимные стихи. «Любовь к Советской власти» стояло первым. Над ним, как и положено, стояла фамилия автора. Стихотворение по цензурным соображениям выбросили, а с ним выбросили и фамилию. Федор Волохов в ярости. Ввалился в кабинет, где собрались все сотрудники редакции, начал махать руками:

— Вот вам всем по выговору влеплю!

В тот же день была сформирована бригада из корректоров и редакторов. К ним присоединился поэт Алексей Прасолов. Он часто приходил в «Подъём» и сидел иногда до вечера. Одним словом, был своим человеком в редакции и вызвался помочь.

В типографии каждому вручили печатку с моей фамилией. И они сидели, печатали над моими стихами мою фамилию вручную. Проштемпелевали весь тираж.

Я в этом не участвовал. Меня Федор Сергеевич, как пострадавшего, отпустил домой. Олег Шевченко, узнав об этой истории, пошутил:

— Прасолова можно считать членом «Республики слова» вместо Панкратова. Витька нигде ни разу с нами не выступал. А Прасолов выступил — напечатал твою фамилию в журнале своей рукой.

КОЛОКОЛЬНЯ ИВАНА ВЕЛИКОГО

В 1966 году типографская история, когда понадобилась помощь Прасолова, повторилась. Я заведовал отделом поэзии и публицистики в журнале «Подъём». Он приносил стихи. Мы регулярно публиковали отдельные стихотворения и большие подборки. Он приходил, садился за стол напротив меня. Посидев немножко, снимал свой берет с хвостиком и, держа за хвостик, размахивая им, говорил что-нибудь о стихах, о прозе, которую начал в это время писать.

Отдельные куски приносил, зачитывал мне. Написано было хорошо. Все это происходило рано утром. Я приходил первым в редакцию. И тут же появлялся он.

Совершенно случайно произошла одна из тех накладок, без которых не обходится редакционная работа. Журнал «Подъём» № 5 за 1966 год вышел без номера лита, то есть без номера, который означает, что цензура разрешила печатать все помещенные в журнале материалы. Пришлось этот номер подтискивать вручную. Всем работникам редакции отлили в виде печаток злополучный литовский номер. Пошел с нами и Прасолов. Мы с ним вдвоем, как он сказал, образовали «печатную машину». Прасолов открывал журнал на нужной странице, а я макал печатку с цифрами в краску и тискал номер.

За работой мы продолжали начатый в редакции разговор.

— Ты был на колокольне Ивана Великого? — спросил Прасолов.

— Нет.

— А я только вчера был в Москве. Залез на колокольню. Сторож за пятерку пустил. Три рубля я ему отдал, когда поднимался. Это был аванс. А два рубля отдал, когда спустился. Обошлось. Знаешь, я прислонился к колоколу с внутренней стороны, он загудел. У Лермонтова помнишь?..

Я не помнил. Он не стал объяснять, как-то сразу ушел в себя, словно продолжал вслушиваться в гул колокола. И мы молча продолжали работу.

Перепечатав эту страничку из дневника, я решил посмотреть, что напечатано в пятом номере журнала. Нашел там свою фамилию. В этом номере была помещена первая часть моего романа «В году тринадцать месяцев». У Прасолова в № 5 за 1966 год стихов не было.

Я стоял в книжном магазине у прилавка, держал в руках книгу Бабеля, которую хотел купить. Неожиданно ко мне сзади подошел Алеша Прасолов, заглянул через плечо:

— Бабель, да? — спросил он.

Затем наклонился, нахмурился выпуклыми половинками лба, свел их к переносице, словно стукнул одну половинку черепа о другую, высекая искру мысли. Сказал:

— Прочитал твой роман «В году тринадцать месяцев».

— Ну, как?

— ПрIMITИВА много. Смотри, чтоб читатель не сказал, прочитав, «не конец», а «наконец». Я говорю тебе словами Маяковского, чужими словами, а ты думай.

И снова свел и развел половинки лба. Глаза у него потухли.

Мне неприятно было это слышать, но я отчетливо сознавал: он это говорит не для того, чтобы огорчить меня. Заложенное в нем чувство художественной правды требовало, чтобы он сказал это человеку, с которым беседует по утрам в редакции журнала «Подъём» о литературе, которому зачитывает вслух главы из неоконченной повести о деревне.

ПАЛЬТО

Перед очередным литературным вторником в Союзе писателей Прасолов побрил голову. Было странно смотреть на его лысую макушку и оттопыренные уши. Они вызывали чувство печали.

Одет был в серый пуловер. В вырезе (полукругом) рубашка, черный галстук. Лоб большой, твердый, морщинистый. Морщины легли поперек лба.

Когда все разошлись, выяснилось: Прасолов оставил на вешалке свое тоненькое кудее пальто и ушел, одевшись в зимнее тяжелое и дорогое пальто Добрякова. Было непонятно, как он в нем разместился. Добряков — гигант, а Прасолов маленький. Таких, как он двух можно было упрятать в это пальто.

Он не украл. Он оставил на вешалке свое тоненькое и кудее пальто. Сразу стало ясно: кто ушел в добротном пальто Добрякова.

Асоциальное поведение поэта свидетельствовало: он — нездоров. Было его страшно жаль.

Стихи Прасолова ценили в Воронеже. Знали отзыв о них великого Твардовского.

Прасолов получил от города квартиру и повесился в ней.

ПАВЕЛ МЕЛЕХИН

ПОЭТ — ПАТРИОТ

Вдруг появился в Воронеже деревенский парень, вихрастый и талантливой. Те, кто успел познакомиться с ним, говорили:

— Талантлив, как Есенин.

Я застал его в кабинете главного редактора «Подъёма». Самого Федора Волохова не было, но сотрудники редакции собрались, сидели по стеночке — на стульях. Павел Мелехин стоял на ковре в середине кабинета, читал стихи.

Но русским — русская столица!

Но русским — русская земля!

На секунду прервал чтение и засмеялся. Мне сразу стало неприятно его слушать. Стихи против инородцев не вызвали у меня никакого сочувствия. Я жил в Советском Союзе. И всегда помнил о том, что этот Союз состоит из многих народов.

Павел читал стихи каким-то заунывным голосом. После каждой удачной строчки начинал заразительно смеяться.

После чтения стихов заговорили о кино. Вспомнили фильм Ромма «Обыкновенный фашизм». Павел громко, как и в стихах об инородцах, высказался:

— Обыкновенный фашизм — это когда сознанием пытаются определять бытие.

И опять залился звонким, продолжительным смехом. Было в этом что-то ненормальное: он заразительно смеялся своим собственным, по его мнению, удачно сказанным словам.

НА СЕМИНАРЕ МОЛОДЫХ

Павлу Мелехину нужны были деньги. Ему пообещали заплатить двадцать пять рублей за то, что прочтет содоклад на семинаре молодых поэтов. Но вместе с этой трудной обязанностью, которая его не очень обременяла, на него свалилось и то, что он переносил с большим трудом. С первой минуты, когда все уселись в зале, выяснилось, что он должен сидеть в президиуме. Он полез по ступенькам на сцену но, оказавшись за столом, изловчился и занял место во втором ряду за двумя широкими спинами Ф. Волохова и А. Долженко. Но и этого ему показалось мало. Он странно сполз со стула и наклонился вперед головой, начал потирать лоб, а на самом деле спрятался за спинами так, что его почти не стало видно.

Затем Павел пообык немного в президиуме, откинулся на спинку стула и сложил руки крест-накрест на груди.

Его вызвали к трибуне. Он вышел и прежде чем что-нибудь сказать, попросил воды. Ему принесли. Павел отпил глоток, испуганно глянул в зал и крикнул:

— Александр Блок сказал...

Это вызвало смех. Приобретенный смехом, начал кричать все громче и громче и все более фальшиво. Из натужного крика сыпались ничем не связанные слова:

— Лев Толстой, Кедрин, Христос...

Кто-то крикнул иронически с места:

— Погромче!

— Я уже охрип, напрягайте слух! — еще более громко крикнул он. Выступал Павел с карандашом в руке и в самые патетические моменты тупым концом бил себя в грудь:

— Понимаете?

Никто ничего не понимал.

«СПЛЮ, СЖИМАЯ КУЛАКИ...»

Однажды Павел Мелехин написал:

Хоть раз заснуть по-детски
И рученьки вразлет...

Это похоже на то, что писал Василий Шукшин: «Сплю, сжимая кулаки». Талантливые деревенские парни пробивались в городе вот так, даже во сне сжимая кулаки.

Мне нравились такие стихи Павла Мелехина. Но к нему самому я относился настороженно. Характер у вихрастого парня был дерзкий, хулиганский. Я оказался как-то с ним в одной компании после поэтического семинара в Союзе писателей. Сидели в просторной комнате у Олега Шевченко дома, пили водку, читали

стихи. Среди нас находился черноволосый кучерявый парень с печальными глазами. Фамилия у него была красивая, больше похожая на псевдоним — Алмазов. А в нижней части лица имелось небольшое уродство — сильно скошенный подбородок, настолько сильно, что подбородка как бы не было. Павел Мелехин смотрел на него с неприязнью. Стихи кучерявого поэта с печальными глазами ему не нравились. Он слушал их, морщась. И вдруг ударил кулаком по столу:

— Молчать!

Алмазов замолчал. Но Мелехин пьяно потянулся за спиной соседа со сжатым кулаком, чтобы ударить неталантливого поэта в лицо. Сидящий рядом Виктор Поляков перехватил его руку, обнял за плечи. Павел, не вставая со стула, попытался достать Алмазова ногой. Тот отскочил, с грохотом повалив стул.

В квартире, за стеной находились родители Олега Шевченко и сестра. Скандал продолжался. Отец заглянул в комнату, Олег его успокоил:

— Все в порядке, папа, все в порядке!

Но надо было уходить.

На улице Виктор Поляков продолжал обнимать Павла, чтобы тот не мог драться. Впрочем, Алмазов куда-то исчез.

— Чего ты к нему пристал? Ну, чего ты к нему пристал?

— У него плохие стихи. Ладно, у всех есть плохие стихи. Но как можно жить без подбородка?

Такое вот эстетическое чувство: стихи должны быть талантливые и человек должен быть красивым. В противном случае — в морду!

Сам Павел Мелехин писал талантливые стихи. Очень точно определил природу его дарования Олег Ласунский в книге «Литературная прогулка по Воронежу»:

— «В поступках Павла было много необузданного. Он подчас не признавал никаких границ в проявлении своей горячности — и сам же от этого страдал. Но когда неукротимость чувства была обращена вовнутрь себя, складывались глубокие, искренние стихи».

БЮРО ПРОПАГАНДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

За искренность в стихах Павла Мелехина высоко ценили воронежские писатели старшего поколения К. Локотков, Ф. Волохов, В. Гордейчев. Часто выписывали путевки от Бюро пропаганды художественной литературы для выступления в сельских клубах. Это давало хороший заработок. Очередная поездка для чтения стихов на станции Поворино закончилась скандалом. В «Коммуне» появился реплика-фельетон «Художества». Ее написал ответственный секретарь газеты Борис Подкопаев, редко выступающий с публикациями. На этот раз, он, как говорится, не мог молчать. Вот несколько строк из этой реплики:

«По замыслу Бюро пропаганды П. Мелехину и В. Самойлову предстояло выступить с рассказом о новинках художественной литературы. Послушать их в Клубе железнодорожников собрались многочисленные любители поэзии и прозы. Однако не в меру близкое знакомство с местным питейными заведением вдохновило двух представителей писательской организации на художества иного рода. В зрительном зале они появились с пением небезызвестного шедевра:

— «Шумел камыш, деревья гнулись».

На сцену забралась, правда, без посторонней помощи. Но спуститься назад уже не смогли.

Как же стал возможен этот совершенно беспрецедентный случай? Надо полагать, данный вопрос станет предметом специального обсуждения на правлении Воронежской писательской организации и будут приняты необходимые

меры, чтобы полностью исключить на будущее повторение подобных происшествий».

Специальное обсуждение состоялось. Павлу Мелехину запретили выступать по линии Бюро пропаганды... Его лишили заработка. Поэт сильно обиделся. Как ни странно, совершал Павел взрослые необузданные поступки, а обижался по-детски искренне. Он и хорошим поэтом был потому, что в нем, взрослом, спящем, как Шукшин со сжатыми кулаками, много оставалось детского.

НЕКРОЛОГ В «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЕ»

Выслушав решение воронежских писателей, он, очевидно, совсем по-детски подумал: «Вот умру, пожалеете...». Но умирать не хотелось, и он ограничился тем, что сочинил некролог о своей смерти.

20 января 1971 года это редкое сочинение Павла Мелехина в прозе появилось в «Литературной газете»: «Воронежская писательская организация и редакция журнала «Подъём» с глубоким прискорбием извещают о преждевременной смерти поэта, члена Союза писателей МЕЛЕХИНА ПАВЛА ЛЕОНИДОВИЧА и выражают искреннее соболезнование родным и близким».

Скандал вышел оглушительный. В Союзе писателей на длинном столе для заседаний лежал номер «Литературной газеты», открытый на скорбной странице. А Павел Мелехин, живой и здоровый, ходил по городу и мрачно усмехался.

Состоялось серьезное разбирательство. Вскоре Павел Мелехин уехал из Воронежа.

ВСТРЕЧА В МОСКВЕ

Встретились мы случайно в Москве через несколько лет. Я в это время (1974–1976 гг.) учился на Курсах сценаристов и режиссеров при Госкино СССР. Жил в общежитии Литературного института. Курсы для нас арендовали здесь комнаты. Глубокой ночью я возвращался в общежитие. Метро уже не работало. Я подъехал к ступенькам подъезда на такси. Расплатился с шофером, и уже поднялся на третью ступеньку, взялся за ручку двери. У посадок, напротив дверей в подъезд, стоял какой-то парень. Он обернулся, и я узнал его:

— Павел, ты чего здесь?

— Да вот стою, — сказал он.

Я спустился к нему:

— А я вот учусь здесь на Курсах сценаристов и режиссеров. Нас поселили здесь.

Такое впечатление, что второй раз учусь в Литинституте.

Мы поговорили о каких-то пустяках. Он отвечал односложно. Стоял, слегка наклонив вихрастую голову, как молодой бычок, и смотрел в сторону. Я пытался понять: почему он в третьем часу ночи стоит здесь один, но спрашивать не стал. Мне было известно, что живет он где-то под Москвой. До вокзала ехать далеко, а метро уже не работало. Должно быть, пришел, надеясь переночевать у кого-нибудь из знакомых поэтов, а его не пустили в общежитие. Я бы мог позвать его в свою комнату, но не позвал.

— Ну, ладно, пока!

И я ушел, а он остался на улице.

Через несколько лет Павел Мелехин выбросился из окна девятиэтажной вышки. Я сразу вспомнил нашу ночную встречу. Может быть, я тогда оставил его в трагическом одиночестве? Талантливый поэт пришел к общежитию Литературного института, где на всех этажах спали поэты; и встретил даже у входа знакомого из Воронежа. И ни в ком не нашел участия.

Должно быть, он примет не знал, —
Народец праздный суесловит. —
Смерть тех из нас всех прежде ловит,
Кто понарошку умирал.

В. Высоцкий.

ЮРИЙ ВОИЩЕВ

КОНСУЛЬТАНТ НАЧИНАЮЩИХ ПОЭТОВ

Пришел начинающий поэт. Выложил передо мной тетрадь со стихами. Я полистал. Все приблизительно. Да, собственно, и стихи на стихи не похожи. Автор не владеет формой. Спрашиваю:

— Что вы читали? Вам, наверное, больше надо читать?

Он возмутился:

— Я столько прочитал, начиная от Зинаиды Гиппиус и кончая Шенгели.

— Книги довольно редкие. Где вы их взяли?

— У Юры Воищева. Я к нему хожу советоваться. Он у меня отобрал пять стихотворений для общего сборника.

Вот как — я консультирую начинающих поэтов в редакции журнала «Подъём», а Юра Воищев консультирует поэтов на дому.

Потом узнал, Юра помогает фотографу Владлену Вороненкову писать повесть. К нему приходят домой. И Юру Воищева это устраивает. Он домашний человек.

В итальянском кино был такой комик — Фернандель. Юра похож на него: такой же большой, с нескладной фигурой, с лошадиным лицом и выразительными выпуклыми глазами, чуть виноватыми и печальными.

Юра ведет домашний образ жизни не потому, что застенчив, а потому, что ленив. Мы с Виктором Панкратовым иногда его навещали. Он каждый раз нам сообщал что-нибудь необычное, например:

— Читаю по-немецки детектив. Совсем другое дело.

— Ты знаешь немецкий язык?

— Все евреи знают немецкий язык. В этом трагедия еврейского народа. Я это понял, лежа на диване. Ха-ха!

Виктор Панкратов после таких визитов говорил:

— Человек он, Юрка, очень неподвижный. Больше лежит, чем сидит; больше сидит, чем стоит; больше стоит, чем ходит... От этого и все болезни его.

НА ПОЭТИЧЕСКОМ СЕМИНАРЕ

Юрий Воищев очень толстый. Ходит в просторном черном свитере. Это делает его еще более толстым. Улыбается широко открытым ртом, показывая все зубы, как Фернандель.

— Юра, ты что пришел? — спросил Олег Шевченко. — Ты же не пишешь стихов и ничего в них не понимаешь.

— Я пришел на это обсуждение специально, чтобы защитить стихи Валерки Мартынова.

Гордейчев занял свое председательское место. Спросил:

— Все собрались?

— Прошу слова, — тут же поднял руку Воищев.

— Не торопись? — спросил Гордейчев.

Воищев махнул рукой и начал говорить, не поднимаясь с места. Потом встал:

— Я много времени провожу в постели. Не смейтесь, я знаю, что во мне погиб комедийный актер. Так вот, я много лежу, я очень болен. Поэтому я часто думаю

о смерти. А Мартынов ко мне приходит, прочтет стихотворение, иногда одно, иногда два... И я становлюсь бодрым.

— И это — все?

— Все!

После обсуждения стихов Гордейчев подошел к Воищеву и даже зло пошутил.

— Когда Мартынов издаст свою книжку, ты больше о смерти не будешь думать.

Тебе обеспечено бессмертие.

«Я ЖДУ ОТЦА»

Так назвал свою трагическую звонкую повесть Юрий Воищев. Об ушедшем на фронт отце, который никогда не вернется. А сын, уже взрослый, уже автор многих книг, все ждал его.

Повесть несколько месяцев лежала в «Подъеме». Наконец, главный редактор Федор Волохов подписал ее в номер. Зашел Олег Шевченко. Я поделился с ним новостью:

— Волохов подписал повесть Юрки Воищева.

— Здорово! Надо ему сообщить.

— Сам узнает.

— Нет, у него нет телефона. Пойдем. Я был у него на буграх, давно, правда, но примерно знаю, где расположен дом.

Я заглянул в кабинет главного редактора. Волохова на месте не было. Постоял в раздумье около двери, махнул рукой:

— Пойдем!

И мы отправились в мартовскую (слякотную) оттепель на Чижовские бугры, чтобы сообщить автору приятную новость. Когда забрались по длинной лестнице наверх и стали бродить среди бугров и домов, никак не могли выбрать нужное направление. Я бывал здесь с Виктором Панкратовым, но тоже не мог сориентироваться. Стали спрашивать:

— Не знаете, где тут живет писатель Воищев?

Люди пожимали плечами. Олег вспомнил, что Воищев живет в доме, где есть белая собака. Она его облаяла. Мы стали спрашивать:

— Не знаете, где тут живет белая собака?

Молодая женщина, вышедшая из ворот с ведром, чтобы высыпать золу на скользкую дорожку, сразу указала дом.

Мы прошли несколько шагов в указанном направлении, встретили мальчишку:

— Не знаешь, где тут живет белая собака?

Он сразу обернулся и показал дом.

Вот тебе раз! Никто не знает, где живет писатель. А где живет белая собака, знают все.

Повесть «Я жду отца» имела успех. На Всесоюзном конкурсе на лучшую книгу для детей и юношества получила поощрительную премию, была переведена на чешский язык.

ФОТОГРАФ ВЛАДЛЕН ВОРОНЕНКОВ

Прибежал в «Подъем» фотограф Вороненков, который с помощью Воищева пишет повесть.

— Братцы, вы что-нибудь сделайте. Юрка вчера чуть не умер. Вызывали скорую помощь. Сердце.

Зашел, как всегда, Олег Шевченко:

— Надо написать письмо в Литфонд, чтобы дали Воищеву путевку в какой-нибудь санаторий.

Странно: приходит в «Подъём» такой вальяжный, добродушно-огромный, пышущий здоровьем и оптимизмом человек. А дома тоскливо и подолгу болеет.

ЖЕНА ВОИЩЕВА — ЛИДА ГЛАНТ

Лида была уверена, что ее муж, лежащий на диване, — гений. И все об этом должны знать, особенно писатели. Эта красивая, но какая-то рыхлая женщина с расплывшимися формами, пришла в «Подъём», села на краешек кресла в кабинете главного редактора, где в это время собрались все сотрудники редакции, и сообщила:

— А у Юрки сегодня день рождения.

И сразу смолкли все разговоры, и всем стало неловко от того, что вот мы тут сидим, обсуждаем состав нового номера, который нужно сдать сегодня, а там, на Чижовских буграх, у человека день рождения.

КНИГИ О ПУШКИНЕ

Юрий Воищев кучеряв, как Пушкин. И прозвище у него — Пушкин. И, в конце концов, он стал писать повести и рассказы о Пушкине. «Ночная метель», опубликованная в «Подъёме», неожиданно оказалась слабее повести об отце. Редакторы Центрально-Черноземного издательства обнаружили: новая книга Юрия Воищева написана посредственно. В осторожных выражениях ему сообщили об этом. Он не понял, решил, что они недостаточно образованны, чтобы понимать тексты пушкинского времени. Однако был растерян. Пришел ко мне в кабинет, сел за стол Матюшина, что был напротив моего стола. Папку с рукописью положил перед собой, не зная, что теперь с ней делать. Подпер свою кучерявую голову кулаком. Вытянутое лошадиное лицо было добрым, виноватым.

— Что они говорят? — кивнул я на папку.

— Говорят, что книга написана слишком профессионально и что сюжет слишком хорошо закручен. Слишком...

ОДИНОЧЕСТВО

В декабре 1962 года закончилась моя преддипломная практика в журнале «Подъём». Я снова уехал в Москву и неожиданно получил письмо от Юрия Воищева на адрес Литературного института. Я ответил, завязалась переписка, которая длилась почти год. У меня было ощущение, что мы разные. Как читатель уже знает, четыре молодых поэта входили в группу «Рабочие поэты». Впоследствии эта группа получила название «Республика слова». А еще в Воронеже было литературное общество «Пиво-воды». Альберт Иванов, соавтор Юрия Воищева, рассказывает:

— А наше литературное общество «Пиво-Воды». О нем тоже нельзя умолчать. Оно ведь постоянно собиралось у Воищева дома, в полуподвале. Нас было человек пять. Председателем мы выбрали аспиранта ВГУ Валентина Юдина, остроумнейшего человека, а ученым секретарем Аркадия Давидовича, личность незаурядную и по сей день. Встречались, читали свои рассказы, стихи, сказки. Обсуждали их, смеялись, пили пиво. Да и название это «Пиво-Воды» родилось от названия ларька, стоящего на повороте улицы к воищевскому дому.

Я один раз побывал в литературном обществе «Пиво-Воды». Мне не понравилось. Это был в чистом виде андеграунд. Собирались в полуподвале, иногда в сарае. Но, оказалось, что у нас есть и кое-что общее. Альберт Иванов, Юрий Воищев

и я ходили в одну школу. Эта школа № 10 стояла на берегу реки, неподалеку от Капканки (крутой бугор над берегом). Юрий Воищев жил на Чижовских буграх и спускался с них, чтобы попасть в береговую школу на Гусиновке. Я жил на улице «Берег реки», рядом с электростанцией, и ходил в школу просто по берегу реки. Правда, я на четыре года старше Воищева. И был уже в четвертом классе, когда Юрий Воищев только появился в школе № 10. Но Гусиновка, близкая к реке улица, где паслись гуси, оставалась все такой же хулиганской. Там у маленьких школьников отнимали портфели, учебники, бутерброды...

Но вернемся к переписке, которая возникла, когда я уехал в Москву.

— Слушай, Эд, — писал Воищев. — Я прочитал твое письмо, и вдруг меня кольнуло — я почувствовал, как ты одинок, как, видимо, все писатели одиноки, потому что никто не помогает тебе в твоей работе и никто не разрешает всех твоих сомнений и колебаний... Раньше мне было легче. Я упивался словами — и слова рождали слово. Я бросал фразу в воздух, а она, перевернувшись, как кошка, все равно становилась на все четыре лапы. А потом меня стала смущать эта невероятная легкость. Я стал лениться и доленился. Сейчас я пишу страшно тяжело, с надрывом и рыданием, выплевывая каждую строчку. Великая радость — наша работа! И великое страдание! И чем больше пишешь, тем меньше веришь в себя, тем труднее и труднее придумать самую примитивную фразу без ненужной злости и соплей.

Я — за лаконизм.

А — ты?

Впрочем, это не столь уж важно. Главное, чтобы была вещь, а как она сделана, каким языком написана — дело второе. Вообще, я сейчас как-то больше и больше склоняюсь к ритмической окраске всего произведения, т.е. (в порядке бреда) если глава несет чисто минорное настроение — фраза тягучая, замедленная. И наоборот, когда глава неминорная — фраза рубленая, крепкая, как кость, звенящая. Ну да это пустяки. Главное, чтобы писалось, а как, повторю, неважно — лишь бы хорошо.

У меня к тебе небольшая просьба! (Не пугайся!) Когда будешь ходить по букинистическим магазинам — не из-за меня — тогда, когда тебе это потребуется — поспрашивай вот эти книжонки!

Брюсов В. «Огненный ангел» (роман).

Мережковский. Трилогия («Христос и Антихрист», «Смерть богов». «Юлиан-отступник»)

Чарльз Ли. «История инквизиции».

Мишо. «История крестовых походов».

(И вообще, все, что касается средневековья).

Мильтон. «Потерянный и возвращенный рай».

Пока хватит. В другом письме пришел более подробный список. Если чего заметишь (из книг), пиши сразу мне — я мгновенно вышлю деньги. Но это, повторяю, не срочно, а только когда будешь, между прочим, прогуливаться для своего удовольствия по букинистам.

Большой привет от Лиды. Пиши.

Юрий Воищев.

24.IX.63.

Все письма заканчивались большими списками книг. Он много читал, собрал самую большую библиотеку

Начал он почти каждое письмо с тезиса об одиночестве. Не знаю, в каких моих словах он это почувствовал. Я не был одинок. Просто ему надо было, видимо, с кем-то поделиться своим одиночеством...

У каждого писателя бывают неудачи. Воищеву вернули рукопись повести о Пушкине. Он много прочитал книг, он готовился к этой работе, читая редкие документы. Но вдохновение покинуло его. Повесть «Ночная метель», которая бушевала в XIX веке, не дотягивала до уровня современной повести «Я жду отца». Фразы (по письму Воищева), подброшенные в воздух, не падали, как кошка, на все четыре лапы. Он задумал цикл повестей и рассказов о Пушкине, а его перестали издавать.

В середине 1960-х Юрий Воищев обиделся и решил уехать за границу.

— Куда? — спрашивали его.

— На родину жены, Лиды Глант, — отвечал он с улыбкой, а глаза были печальные.

Всем было ясно: решил уехать в Израиль. Он считал, что имеет право, добивался официального разрешения на выезд из СССР. Попал в «отказники». Его исключили из Союза писателей, потребовали сдать билет. Он был готов к этому. 24 ноября 1966 постучал в дверь кабинета, где в полном составе его ожидало бюро Воронежской писательской организации. В протянутой руке держал красную книжечку удостоверения члена Союза писателей СССР. Сделал несколько шагов к столу Владимира Гордейчева, ответственного секретаря Воронежской писательской организации, отдал ему книжечку и хотел уйти, но Юрий Гончаров строго, по-военному приказал:

— Сядь!

Воищев нехотя сел, всем своим видом показывая: нечего ему здесь сидеть, всё — он не писатель Советского Союза.

Гордейчев прошел в полной тишине от стола к сейфу, погромыхал дверцей, положил на полку железного ящика красную книжечку. А затем с лязгом захлопнул дверцу, будто вместе с удостоверением что-то отрубил. Лицо «Пушкина», лицо «Фернанделя» в этот момент исказила гримаса страдания. Всем стало не по себе, в том числе и Юрию Гончарову.

— Юра, ты — хороший парень, — сказал он Воищеву, желая смягчить ситуацию. — Мы с тобой работали, а в «Подъеме» сидели в одном кабинете. У тебя хорошие книги. Может, ты подумаешь. Может, нам пока не забирать у тебя удостоверение. Тебя не печатают, ты сказал, не подумав, что хочешь уехать.

Поднялся Воищев:

— Юрий Данилович, я два года сидел с вами в одном кабинете. Наши столы были напротив друг друга. Я хорошо вас изучил. Вы — нечестный человек в жизни и в литературе. Я не хочу, чтобы вы меня защищали...

Юрий Воищев смог выехать с женой и сыном в Израиль только в 1992 году. Он прожил в Израиле 10 лет. Ничего не написал, ничего не издал. Повесть его «Я жду отца» уже после смерти была переиздана в Воронеже в большой книге, посвященной детям войны.

Мир праху твоему, Юра Воищев.

ПИСАТЕЛЬ — НЕ ПРОФЕССИЯ...

Писатель — не профессия, писатель — это судьба. Он выбирает перо, гусиное или вечное, а пишет за него или вместе с ним — время. Особенно отчетливо это видно, когда знакомишься с русским литературным зарубежьем.

Попалась мне на библиотечной полке книга Василия Яновского: «Поля Елисейские». Автор вспоминает литературную жизнь в Париже молодого поколения эмигрантов. Есть подзаголовок «История незамеченного поколения русского зарубежья». Книга написана сумбурно, перечислительно. Поразило меня, что ли-

театральной жизни в Париже так же провинциальна, порой мелочна, как в любом провинциальном городе России.

Удивили и некоторые совпадения. В Центрально-Черноземном издательстве у меня вышла книга повестей «Мальчики и девочки». И в Париже, примерно в это же время, у И. Болдырева вышла книга «Мальчики и девочки». Позднее я узнал, что роман Б. Пастернака «Доктор Живаго» в первом варианте тоже назывался «Мальчики и девочки».

В 1977 году я заключил договор с Воронежским театром драмы имени Кольцова на создание пьесы о жизни собирателя русских песен Митрофана Пятницкого. Я назвал свою пьесу «Посолонь». Мне казалось, что название очень оригинальное. Посолонь — славянский символ, знак Света, Солнца, Жизни.

Но вот читаю воспоминания о знаменитом писателе А.М. Ремизове:
— Читайте мою «Посолонь». Там вся тема, — говорит он.

Еще один пример из живой жизни. Мой старый друг, известный поэт Анатолий Жигулин, любил цитировать строчку из стихов Сергея Есенина: «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?»

Он повторял этот стих, как пословицу, в разных ситуациях. Поднимаемся по лестнице на третий этаж в Союз писателей (Воронеж), останавливается на середине марша, чтобы успокоить отдышку, и привычно говорит, ни к кому не обращаясь, самому себе: «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?..»

Много лет спустя я так назвал свою автобиографическую книгу повестей и рассказов. В моей жизни тоже много было неожиданного.

«Жизнь моя, иль ты приснилась мне».

Написал крупными буквами эти слова в качестве заголовка на готовой рукописи. И вдруг узнаю: именно этой строчкой из стихов Сергея Есенина назвал свой новый роман Владимир Богомолов, автор знаменитого романа «В августе сорок четвертого».

Это, вероятно, означает, что в Париже, Воронеже, Москве существовал общий круг тем и понятий. Научные работники Библиотеки имени В.И. Ленина отслеживают похожие названия и выпускают огромные тома на каждую букву. Я листал эти фолианты. Очень много на каждую букву одинаковых названий романов, повестей, пьес, сборников стихотворений. Это с неожиданной силой доказывает, что писатель не во всем волен в своем творчестве, что-то ему диктует история, сама жизнь в ее повторяющихся формах, требующих одинаковых слов. Говоря проще: не только мы пишем книги, но и книги пишут нас. Когда мне сообщили, что «Подъему» исполняется 90 лет и было бы неплохо поделиться с редакцией своими воспоминаниями, я, конечно же, с радостью воспринял предложение. И как только стал думать об этом, не я книжку, а книжка начала меня писать, выхватывая ключевые эпизоды из моей молодости, когда я работал в журнале «Подъем», в отделе поэзии и публицистики. В этой череде лиц, событий и явлений вырисовывался облик удивительного времени и той далекой великой страны, которая и от нас требовала великой стати. Страшным, большим горем для миллионов людей был ее распад. Но ведь столь же беспощадным способом рушились тогда и просто человеческие, в том числе и писательские, судьбы. Мне кажется, что трагедия, к примеру, Жени Титаренко, моего товарища по Литературному институту, из того же порядка: советская цензура и обком партии попросту уничтожили два его ярких, честных и талантливых романа, с которыми он появился в середине 1960-х в Воронеже. Он не поднялся после этого удара. Спился, много лет лежал в Орловском психдиспансере. Там не так давно и умер. Даже родная сестра, первая леди СССР Раиса Горбачева и ее муж-генсек не помогли ничем. Впрочем, история, которую я хочу рассказать, очень наглядна в том, каким иезуитски опасным для писателя бывает близкое соприкосновение с властью предрержащими. Да еще такими!

КАК ИЗ «АНТОЛОГИИ» ПОЛУЧИЛСЯ «СБОРНИК»

Меня всегда удивляло, как много внимания наши вожди уделяли литературному творчеству граждан. Некоторые из вождей и сами писали стихи, но главное — они читали их...

Передо мной лежит книга несколько необычного формата в ледериновом переплете: «РУССКАЯ СОВЕТСКАЯ ПОЭЗИЯ. (Антология 1917–1942)». Гослитиздат, Москва, 1943 г.

На титульном листе, на свободном поле, рукой известного литературоведа, профессора В.Я. Кирпотина написано крупно красным карандашом: «КНИГА НЕ ВЫШЛА».

В дневниковых записях Валерия Яковлевича я нашел комментарий к невышедшей антологии:

«В 1943 году Государственное издательство художественной литературы поручило В. Казину и В. Перцову произвести отбор стихотворений. Действовали они очень осторожно — отбирали не столько лучшее, сколько подходящее к году войны. В отрывках из «Высокой болезни» Пастернака опустили конец:

Из ряда многих поколений
Выходит кто-нибудь вперед.
Предвещьем льгот приходит гений
И гнетом мстит за свой уход.

Тираж книги был напечатан полностью и переплетен, однако света она не увидела. Экземпляр антологии был просмотрен Сталиным — и он велел пустить книгу под нож.

Мотивы решения были сообщены Фадееву, который со страстной убежденностью докладывал об этом на специально собранном президиуме ССП.

Сталин сказал, что как антология книга слаба и создает плохое представление о советской поэзии. Сказано это было как-то двусмысленно. Получался оттенок и такой — если советская поэзия не может выдать полноценную антологию, то и не надо. Тогда надо издать сборник стихов.

В стихотворении Сельвинского «Россия» Сталину не понравились строки:

Люблю тебя! Люблю тебя!
До стона и до бормотанья...

— Зачем вносить в стихи о любви к Родине оттенок, свойственный половому акту?..

В результате та же книга с незначительным изменением отбора была издана вновь в другом формате под названием «Сборник советской поэзии»...

Я разыскал эту книгу по первому слову. Она была названа «Сборник стихов» — именно так, как сказал Сталин. Не посмели придумать ничего нового. Хотя такое название — очевидная нелепость. Все поэтические книжки, составленные из отдельных стихотворений, являются сборниками. Но вождь сказал «Сборник», и все члены президиума ССП запомнили: первое слово «Сборник» — обязательно.

Из выходных данных следует: Антология была подписана к печати 18 января 1943 года; Сборник... — 26 июня 1943 года, то есть книга вышла через полгода с тем же кругом авторов, с теми же составителями, в том же издательстве и тем же тиражом 25 000 экземпляров. Но изменения при внимательном чтении обнаружались более значительные, чем предполагал В.Я. Кирпотин. И все они отчетливо выражают волю Сталина.

Конечно, не понравившееся вождю стихотворение Сельвинского «Россия» выкинули из сборника. Пять других стихотворений, о которых Сталин ничего не сказал, остались.

Из подборки Семена Кирсанова исчезло стихотворение, посвященное знаменитому кличу «За Родину! За Сталина!»

ДВА СЛОВА

На штурм окопа —
 роту в бой
Вел комсомолец за собой.
Гранату, развернув с плеча,
Сквозь ночь, огнем разодранную,
В штыки повел ребят, крича:
— За Сталина! За Родину!

1939 г.

Трудно понять, что не понравилось здесь отцу народов. Может быть, стихотворение вызвало неприятнее воспоминания о финской войне. Судя по дате под стихотворением, оно было посвящено именно этому не очень удачному сражению, несмотря на то, что комсомольцы выкрикивали два магических слова: «За Родину! За Сталина!». Но одно совершенно ясно: изъять из сборника стихи о Сталине мог только сам Сталин.

Изъято было единственное стихотворение Джека Алтаузена «Родина», в котором были такие слова о вожде:

Ходит слава по нашей стране
Про того, кто стоит у кормила,
Чья работа, чья жизнь вспламенила
Искры, спавшие долго в кремне.
Он, как ветер с далеких широт,
Он, как высшее в мире искусство.
Он, как мысль, перешедшая в чувство,
Движет нас неустанно вперед.

1936 г.

Это была удивительная редаKTуpa: Сталин убирал стихи о Сталине. Исчезло в новом издании и двухстраничное предисловие от редакции, где на малой площади четырежды цитировались высказывания Сталина и подчеркивалась его роль, как объекта для воспевания поэзией.

Без ведома Сталина, безусловно, никто бы не посмел прикоснуться к этому политически-поэтическому панегирику.

Чем объяснить изъятия имени и образа «того, кто стоит у кормила»? Войной? Особым настроением? Мы привыкли к тому, что Сталин создавал свой культ всеми возможными способами. Здесь же мы имеем дело с человеком, который добывается прямо противоположного. Он, конечно, не собирался быть скромным, но, возможно, в тактических целях считал необходимым время от времени демонстрировать свою простоту и скромность.

Далее, не так явственно, но все же угадывается рука генерального редактора. Из подборки А. Яшина было изъято стихотворение «Русские мы». А. Софронов попал в «Антологию» двумя стихотворениями о казаках на фронте. Оба изъяти. Не следует подчеркивать роль русских казаков в войне, где участвуют многие народы, а сам Главнокомандующий — грузин.

По той же причине, видимо, было снято стихотворение Н. Асеева «Абхазия»:

Врагов опутав за ноги,
В ветрах затрепетав,
Отважной партизанкою
Глядишь из-за хребта

1934 г.

Не принял Сталин в «Антологии» отрывок из новой сказки о войне К. Чуковского «Одолеем Бармалея». Лишенный детского воображения, он, видимо, не мог оценить нарисованный игровыми стихами образ грядущей победы над фашистами. По Чуковскому, в День Победы произойдут всякие чудесные превращения:

И вороны над полями
Вдруг запели соловьями
И ручьи из-под земли
Сладким медом потекли.
Куры стали павами,
Лысые — кудрявыми.

Эти лысые куры (ощипанные что ли?), ставшие кудрявыми в День Победы, выглядели забавно. Но шел 1943 год, и Сталин к будущей Победе относился не по-детски серьезно. Сказку вычеркнули, заменив старыми стихами «Краденое солнце» и «Муха-цокотуха».

У этой сказочной истории есть продолжение. Как мы знаем, «Антологию» пустили под нож не позднее января-февраля 1943 года. А 10 марта Корнею Ивановичу позвонила из Детгиза редактор Голенкина: «К.И., я вам должна сообщить, что мы получили указание не издавать вашей сказки (К. Чуковский, «Дневник»). Указания тогда известно откуда получали. Но, судя по всему, Чуковский не подозревал, что указания исходят непосредственно от Сталина. Все его дальнейшие поступки показывают, что Корней Иванович был не информирован. В первых числах июня Чуковский начал собирать подписи в защиту сказки. Бумагу подписали: М. Шолохов, А. Толстой. Отказался дать свою подпись С. Маршак. «Он стал «откровенно и дружески», «из любви ко мне» утверждать, что сказка вышла у меня неудачная, что лучше мне ее не печатать» (К. Чуковский, «Дневник», 2 июня 1943 г.). Но собранные подписи помогли — на президиуме ССП сказка была одобрена. Очень быстро после этого она вышла в Ташкенте, двумя изданиями в Пензе. У автора возникло ощущение нарастающего успеха.

Обратимся снова к «Дневникам» В.Я. Кирпотина, который знал эту историю не понаслышке:

«В 1943 г. в «Советском писателе» вышла в роскошном для военных лет издании сказка К. Чуковского «Одолеем Бармалея». Сказка аллегорическая, приуроченная к военному времени и потому несколько деревянная:

А свирепые зверюги
Словно с цепи сорвались
И кровавою
Оравую
По болоту понеслись
Мчатся танки, танки, танки,
А за ними на волках
Лютые орангутанги
С минометами в руках.
Но, не дрогнув, говорит
Добрый доктор Айболит:
«Буду биться до конца,
Одолею наглеца».

Сказка как сказка, печаталась и печаталась неизмеримо хуже. Однако Чуковский принадлежал к переделкинской элите и потому считал само собой разумеющимся, что он должен получить Сталинскую премию. Он поговорил с кем надо, и детская секция и президиум ССП выдвинули сказку в рекомендованный список.

Тоже ничего особенного. Сталинские премии в это время выдавались пачками, премировались произведения и похуже и тоже по всяким признакам, не только литературным.

И вдруг разразился скандал: в «Правде» с разносной статьей выступил некто Юдин. В «Литературной газете» Сергей Бородин писал: «Пошлые выверты К. Чуковского возбуждают чувство отвращения... Был создан специальный президиум ССП, и Фадеев в большом докладе разносил «Бармалея» по всем направлениям. Чуковскому было сказано много слов совершенно лишних и о нем самом, и его поэме. Критика вышла за пределы необходимого и возможного — и выдвижение было взято назад».

Сталин, запретивший сказку в «Антологии», вдруг увидел «Бармалея...» в списках на Сталинскую премию. «Эта премия присуждалась в итоге лично Сталиным, — пишет В. Кирпотин. — Узнав, что Чуковский выдвинут, он рассердился — дал соответствующий сигнал. Сказочника всенародно топтали, азарт и степень критики ошеломляли, переходящие в ругательства слова оставляли после себя чувство недоумения».

Но вернемся к «Сборнику стихов». В «Антологии» поэты печатались с портретами и были расположены по алфавиту: — первым В. Александровский, последним — А. Яшин.

В «Сборнике стихов» был применен иной принцип. Первым открывать книгу поставили В. Маяковского, «лучшего, талантливейшего поэта нашей советской эпохи», — как сказал о нем Сталин. Далее следовали: А. Блок, В. Брюсов, А. Белый, где-то в середине С. Есенин — соответственно рангу, как это представлялось Сталину.

Фотографические портреты были сняты, предисловие снято. Книгу напечатали обычным форматом, она стала в два раза толще, солиднее. Сталину не понравился цвет обложки — желтый. Сделали обложку темно-вишневой, как у томов из собрания сочинений Сталина. Название «Сборник» написали его почерком. Издатели выполнили его волю и уже не посмели поставить под «Сборником стихов» имя ответственного редактора С.Л. Горского, который редактировал «Антологию».

Автор художественного оформления Н.В. Ильин тоже исчез из книги, поскольку Сталин поменял цвет обложки.

Вопреки правилам печати того времени, книга вышла без имени ответственного редактора, без имени автора художественного оформления. Всех их заменил незримо присутствующий в издании новый литературный и художественный редактор И.В. Сталин. Только имена составителей остались нетронутыми, поскольку не изменился круг авторов. Как заметил в своих «Дневниках» В.Я. Кирпотин: «Выиграли Казин и Перцов — за одну и ту же работу они получили два гонорара».

Первое издание антологии русской советской поэзии в желтой обложке было уничтожено. Даже в Библиотеку имени В.И. Ленина не попало ни одного экземпляра. И все же: не только «рукописи не горят», но и книги не исчезают бесследно. Во всяком случае, один экземпляр «Антологии» 1943 года нашелся в библиотеке В.Я. Кирпотина и был сохранен.